

Юлиан Семенович Семенов
ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН



ebooks@prospekt.org

Пароль не нужен

МАЙ, 1921

1

Шестой год революции пришел в Россию с голодом. Вымирали целые волости. В холодных вокзалах на цементных платформах лежали тихие дети с желтыми старческими лицами. Над обезлюдевшими деревнями и голыми полями носилось воронье.

Блаженный Митенька – голубоглазый паренек в серой власянице – бился на паперти Новодевичьей церкви, царапал щеки и смеялся, выкрикивая:

– Мор! Мор! Мор!

Голос у него был ломкий, совсем еще детский, слышался он далеко окрест, звенел и перекачивался в студеном воздухе.

Богомолки терпеливо спрашивали:

– Кому мор, Митенька? Кому мор-то, господи?!

– Пальчикам и рученькам, ноженькам и глазынькам, – отвечал блаженный.

– Чьим пальчикам-то?

– Маленьким! – кричал Митенька. – Ма-алю-сень-ким!

– А что станется? – шептали старухи. – Что в конце станется?!

– Благовещенье, – отвечал Митенька испуганно и смотрел на старух жалобно, а ногти грыз быстро-быстро, словно белка. – Станется благовещенье!

2

Верховный совет Антанты поручил бывшему послу Франции в Петербурге господину Нулансу ознакомиться с положением в России и внести свои предложения. Была создана Брюссельская комиссия. Работа продолжалась много недель. Поволжье вымирало.

Нуланс давал интервью и устраивал приемы, на которых угощал стерляжьей ухой «а ля рюс». По прошествии нескольких месяцев Нуланс заявил:

– Помощь голодающим России в принципе возможна, если, конечно, Ленин признает все долги законного правительства императора Николая Романова, и лишь в том случае, когда

наши люди будут допущены на места, чтобы провести личное расследование.

3

Когда корреспонденты из Лондона спросили народного комиссара иностранных дел Чичерина, как он расценивает подобного рода предложение, Георгий Васильевич ответил:

– Как бы вы отнеслись к доктору, который у постели тяжелобольного требует денег за предыдущие визиты? Если вы исповедуете гуманизм, вы обязаны назвать такое поведение подлостью и живодерством.

Юноша из протокольного отдела при слове «живодерство» засмутился и стал делать жесты.

– Живодерство, – резко повторил Чичерин, – именно это я и хотел сказать.

Репортер из «Ньюс кроникл» спросил:

– Считает ли господин министр такое слово допустимым в лексиконе дипломата?

– Я исповедую дипломатию правды, – ответил Чичерин.

– Но если вы откажетесь от предложений

Нуланса – Россия погибнет!

Чичерин отпил глоток холодного черного чаю, усмехнулся и спросил:

– Вы так считаете?

Нота

правительства РСФСР

правительствам Великобритании, Франции, Италии и Бельгии

С величайшим изумлением Российское Советское Правительство ознакомилось с содержанием полученной 4 сентября ноты г-на Нуланса, показывающей, что возглавляемая этим лицом комиссия вместо действительной помощи голодающим предпринимает шаги, заставляющие усомниться в самом желании ее помочь бедствующим крестьянам России. Уже само имя Нуланса как представителя Франции в международной комиссии помощи голодающим, а вслед за этим как председателя этой комиссии возбудило во всей России среди самых широких слоев трудящегося населения взрыв негодования. Трудящиеся России не забыли имени того, кто был одним из самых злостных и коварных врагов их во время борьбы не на жизнь, а на смерть, которую они вели против контрреволюции и

иностранного вмешательства. Они не забыли того, что с самых первых дней существования Рабоче-Крестьянского Правительства в России г-н Нуланс среди иностранных представителей больше всех прилагал усилий, чтобы не допустить соглашения и взаимного понимания между Советским Правительством и правительствами Антанты.

Весной следующего года именно интервью г-на Нуланса, помещенное в русских газетах, впервые ясно и определенно выставило требование вооруженной интервенции держав Антанты в России и отрезало всякий путь к примирению между ними и Советским Правительством. Последнее в тот же момент обратилось к Французскому Правительству с заявлением, что невозможно ни на одну минуту оставлять в России в качестве его представителя такое лицо, которое толкает к войне между Францией и Россией. В своем неуклонном желании поддерживать мирные отношения со всеми народами Советское Правительство воздержалось от насильственной высылки г-на Нуланса из пределов России, но оно заявило, что считает с этого момента г-на Нуланса лишь частным лицом. Оставшийся, несмотря на это заявление, в России г-н Нуланс все свои силы отдал подготовке заговора против безопасности Республики и против жизни ее руководящих

деятелей, подготовке восстаний, вербовке участников всевозможных авантюр, направленных против Республики, попыткам устраивать взрывы мостов и железнодорожные крушения и т. д. На г-на Нуланса падает главная вина за восстание чехословаков, обманутых врагами русского народа и вовлеченных ими в борьбу против Советской власти. Г-н Нуланс был одним из наиболее активных руководителей той самой системы блокады, которая привела весь русский народ в состояние разорения и нищеты, в значительной мере обусловивших нынешнее неслыханное бедствие голода. Среди всех участников военных и экономических враждебных действий против Рабоче-Крестьянской России на г-не Нулансе, более чем на ком-либо ином, лежит вина за ужасающие несчастья, перенесенные русским народом, и за нынешние страдания крестьян голодающих губерний. Назначение этого постоянного руководителя всех предприятий, направленных против Советской России, председателем международной комиссии помощи голодающему уже само по себе глубоко поразило широкие массы русского народа и вызвало в них величайшее негодование. Имя г-на Нуланса – это уже целая программа.

Комиссия, возглавляемая представителем Франции, известным инициатором интервенции

Нулансом, заменяет помощь голодающим этим расследованием в то самое время, когда Французское Правительство посылает в громадном количестве военное снаряжение Польше и Румынии, в которых руководимые Савинковым и Петлюрой белогвардейские банды проявляют за последнее время усиленную активность у советских границ. Это происходит в то самое время, когда связанные тесными узами с Францией Польское и Румынское Правительства оказывают этим белогвардейским бандам всяческое содействие, когда Польское Правительство, которому еще 4 июля Российское Правительство подробно указало на эту деятельность поддерживаемых им белогвардейских банд, все еще не только не проявляет ни малейшего признака желания хоть сколько-нибудь ограничить деятельность этих банд, но даже дает им возможность больше прежнего развить свою деятельность. Сосредоточивающиеся у советских границ белогвардейцы в Польше и Румынии совершают постоянные вторжения в пределы Советских Республик и всячески вредят сбору урожая в наиболее хлебных местностях этих Республик и этим самым способствуют обострению голодного бедствия. Среди членов международной комиссии мы видим также представителя Японии, которая до сих пор не отказалась от активной вооруженной интервенции в пределах

дружественной нам республики и поддерживает своими войсками контрреволюционные группы, захватившие при ее помощи власть в районе японской оккупации в Дальневосточной Республике.

Комиссия г-на Нуланса заменила помощь голодающим собиранием сведений о внутреннем состоянии Советской России. Она выставила обширную программу расследования, требующую для своего выполнения продолжительного времени и сводящуюся к установлению ресурсов и средств Советской России в области земледелия, транспорта, скотоводства и т. д., причем это должно делаться под руководством тех людей, которые уже занимались этим изучением в ничем не прикрытых целях устройства мятежей и облегчения продвижения иностранных армий на территории Советской Республики. Голод и страдания трудящихся России оказались поводом для этой комиссии, чтобы попытаться узнать, какими силами и средствами располагает Советское Правительство. Слово издеваясь над миллионами погибающих от голода крестьян восточных русских губерний и демонстрируя перед всем миром свое глубочайшее невежество, комиссия г-на Нуланса хочет заняться изучением условий и возможностей обсеменения в тот момент, когда самый период обсеменения уже

пришел к концу и когда сами трудящиеся массы России, под руководством Советского Правительства, ценой нечеловеческих усилий уже добились значительных успехов в области обсеменения громадных, лишенных хлеба неурожайных районов. В то время, когда десятки миллионов уже лишены всякого пропитания и массами умирают с голоду, комиссия г-на Нуланса предлагает вместо хлеба собирание сведений о состоянии России.

Отсутствие серьезных деловых намерений у комиссии г-на Нуланса еще больше бросается в глаза при сравнении с громадными результатами, уже достигнутыми трудящимися массами всех стран, устраивающими денежные сборы из своего скудного заработка, организующими собрания, митинги и т. д. Рабочие массы не ждут, пока кончится расследование, они немедленно, по мере сил, оказывают помощь. Советское Правительство могло ожидать, что дело помощи голодающим трудящимся России не будет возложено на их злейших врагов, вроде г-на Нуланса. Оно ожидает, что организации помощи будут относиться к своей задаче таким же деловым образом, как отнесся Верховный комиссар Нансен. Оно ожидает, что самое дело помощи будет осуществляться немедленно, а не с отсрочками, уничтожающими самый смысл этой

помощи, и не будет превращаемо в прикрытие для работы по подготовке нападений на трудящихся России. Всякой деловой практической попытке помощи голодающим России Рабоче-Крестьянское Российское Правительство будет в полной мере идти навстречу. В предложениях же комиссии Нуланса Советское Правительство усматривает лишь неслыханное издевательство над миллионами умирающих голодающих.

Народный Комиссар по Иностранным Дела

Чичерин.

4

Помощник министра обороны Великобритании тщательнейшим образом изучал всё относящееся к России.

– У них полный крах. Они проиграли в угле, стали, нефти и хлебе. Эти данные свидетельствуют о том, что Кремлю сейчас, как никогда, тяжело, – говорил он сотрудникам отдела стратегической разведки. – Сегодняшнее положение в России я оцениваю как наш последний шанс. Итак, я говорю вам – пора!

В этот же день люди из министерства обороны отправились в Польшу – к Петлюре, в Румынию –

к Булаховичу, в Чехословакию – к Савинкову, в Хельсинки – к Маннергейму, в Ревель – к Чернову, чтобы в самый короткий срок подготовить единый фронт выступлений против Москвы. Особо доверенный представитель министерства выехал в Париж для секретных переговоров с руководителями французского генерального штаба.

В тот же день в пять часов по Гринвичу премьер-министр Ллойд-Джордж был проинформирован о предпринятых акциях.

Через час после визита руководителей военного ведомства премьер-министр принял личного представителя Ленина Леонида Красина.

Премьер-министр заявил, что помощь голодающей России начнется сразу же после того, как большевики передадут британским фирмам часть железнодорожных магистралей юга и центра РСФСР. Только это, утверждал Ллойд-Джордж, может оказаться той достаточной гарантией, которая устроит британских предпринимателей, согласившихся в принципе финансировать помощь Москве.

Представитель Ленина в категорической форме отверг эти предложения премьер-министра Великобритании.

Проводив Красина, премьер попросил вызвать для беседы японского посла.

5

В японском генеральном штабе работали круглые сутки. Лучшие специалисты по России сидели за статистическими таблицами и подсчитывали хлебный потенциал Советов.

О, как великолепно была задумана в Токио владивостокская операция! Это был реванш за выигрыш Ленина, который сумел в апреле 1920-го создать на громадной территории от Байкала до Владивостока суверенное государство, ДВР – Дальневосточную республику, «красный буфер». Этой акцией Ленин парализовал действия китайцев и японцев в Сибири, ибо ДВР, построенная на принципах незыблемости частной собственности и широкой многопартийности, тут же наладила отношения с Америкой. А США зорко наблюдали за всеми действиями японцев в России, и всякий их успех расценивался в Вашингтоне как операция потенциального противника. Вашингтон устраивала слабая дальневосточная окраина без японцев. Подготавливая заговор во Владивостоке, Токио учло позицию Вашингтона. Началась сложнейшая дипломатическая игра. Нужно было найти и привести в ДВР к власти таких русских, которые сначала утвердились бы

как антибольшевистская сила – это бы американцы приветствовали, – а потом истинно русская белая сила должна была обратиться за помощью к Японии, но никак не к Вашингтону. Однако то была бы уже вторая стадия операции. Пока важно выиграть первую стадию. В течение года в Токио тщательно готовились. Во Владивостоке была создана подпольная контрреволюционная организация во главе с братьями Меркуловыми. Старший, Спиридон Дионисьевич, был купец – фигура на Дальнем Востоке известная. Младший, Николай Дионисьевич, – капитан, уже двадцать лет гонял пароходы по Амуру. Братья были умны и богаты. На них делалась первая ставка. За помощью они обратятся только к японцам и ни к кому больше. А как же отказать суверенной новой русской власти, которая просит о помощи?! Никак нельзя отказать? Следовательно, перед красными Токио соблюдает реноме – все совершается в соответствии с законом. Да и Вашингтон не сможет придаться: как не помочь антибольшевистскому режиму?! А Лондон и Париж в этой акции первые союзники.

Второй ставкой был атаман Григорий Михайлович Семенов, который сидел в японском генштабе. Но он был как бы запасным центром, приготовленным на случай провала Меркуловых.

К братьям Меркуловым японцы подключили

опытного контрразведчика полковника Гиацинтова, что жил во Владивостоке нелегалом, собирал досье на коммунистов, готовил склады оружия и непосредственно поддерживал связь с японской миссией. Николай Меркулов два раза ездил в Харбин и здесь наладил связь с наиболее влиятельными кругами эмиграции, с либеральной профессурой, с королем газетчиков Николаем Ивановичем Ванюшиным. Это было необходимо для того, чтобы сразу же после переворота заручиться поддержкой эмигрантской прессы. Естественно, о том, что Япония поддерживала его, Меркулов молчал. Речь шла только о том, чтобы создать на территории ДВР законное русское белое правительство. После разгрома Колчака такого противодействующего Ленину правительства – хотя бы чисто формального – на территории России не было.

А появившись оно – у Антанты сразу же развяжутся руки. Она сможет помочь не только тем формированиям, которые располагаются вдоль границ РСФСР. Нужно будет «выполнять союзнический долг», то есть помогать «законному, белому» русскому правительству, которое находится на территории России и, следовательно, представляет русский народ.

Поэтому чрезвычайные посланники Японии в Париже, Лондоне и Вашингтоне

проинформировали глав правительств Антанты о ситуации на русском Дальнем Востоке. И так как Ленин от уплаты царских долгов отказался, железные дороги России под контроль иностранцам не передал, словом, не пошел даже на частичную капитуляцию, операция японцев была признана своевременной. Чтобы поддержать эту дальневосточную операцию, главы европейских правительств поручили своим военным министрам продумать возможность координированного выступления, которое призвано было отвлечь внимание Москвы от подготавливаемого дальневосточного путча. И по прошествии некоторого времени, почти в один день, европейские границы РСФСР пересекли войска Петлюры, Тютюнника, Булаховича, Савинкова; заиграли банды на Тамбовщине.

Чуть позже других выступил барон Унгерн фон Штернберг. Его войска двинулись через Монголию к границам России. Войска 5-й армии Уборевича, подпиравшие на Байкале границы ДВР, повернули жерла пушек в другую сторону, двинувшись навстречу Унгерну. Этого только и ждали в Токио.

И в ночь на 26 мая 1921 года во Владивостоке был совершен переворот. Коммунистические организации частью ушли в подполье, частью отступили в сопки. Премьер «нового русского правительства» Спиридон Меркулов три часа

отстоял на коленях в церкви, вышел оттуда весь просветленный и приступил после этого к формированию кабинета. Брат получил портфель министра иностранных дел и в тот же день вызвал для беседы двух консулов – Японии и Франции.

6

Заметно сдал Пуанкаре за последний год, но глаза его – маленькие всевидящие буравчики – по-прежнему глядели на мир умно и весело.

– Чтобы все люди земли были счастливы, – говорил он единственному гостю, приглашенному к завтраку, русскому генералу, сподвижнику барона Врангеля, – каждый обязан быть хоть немножечко виноградарем. Землепашество – это иное, это необходимость. Виноградарство – искусство. А?

Генерал слушал его молча, тяжело смотрел себе под ноги и ощущал огромную, нечеловеческую усталость.

«Что он знает? – думал русский. – Что они все видели? Верден? Ах, боже ты мой, Верден! Им один денек России показать. Виноградарь чертов! Водки бы стакан. Ишь вина выставил. Водки бы с луком».

– Понимаете, мой генерал? – продолжал говорить Пуанкаре. – Теперь они задохнутся, потому что потеряли изящество, обязанное сопутствовать культуре возделывания земли. Этим они убили себя. Ленин – сильный политик, но он мыслит прямолинейными категориями, а изящество, составляющее сердцевину прогресса, не терпит прямолинейности. Ленин на грани падения. Надо только помочь.

Генерал посмотрел на Пуанкаре исподлобья и тяжело усмехнулся. Старик резко отодвинулся.

– А? Что? – спросил он.

«На ежа б тебя голым задом, – подумал генерал, – сука старая».

Вслух он сказал:

– Ваше превосходительство, меня изумляет ваше умение анализировать самую суть события... Только я не совсем ясно представляю себе возможность «помощи» Ленину.

Пуанкаре достал из кармана старые часы-луковицу, постучал пальцем по циферблату и, прищурившись, произнес:

– Сегодня утром во Владивостоке к власти пришло законное правительство во главе с

господином Меркуловым, истинным патриотом России.

Генерал мучительно напряг память, но фамилия Меркулова ни о чем ему не говорила.

– Я счастлив, – сказал он. – Господин Меркулов действительно великий гражданин нации.

Пуанкаре чуть улыбнулся:

– Теперь весь вопрос заключается в том, чтобы перебросить туда войска барона Врангеля на наших кораблях.

Генерал сразу же представил себе пьяных офицеров в константинопольских и афинских кабаках, солдат, которые до сих пор живут на пароходах, угнанных из Крыма, и по ночам поют тоскливые мужицкие песни, моряков, что матерят весь мир людской и рвутся обратно, на родину; он представил все это разом – всех измученных, изверившихся людей, которые перестали быть армией, – и сказал:

– Наши люди готовы к бою за Учредительное собрание. Для организации нужно только одно...

– Я понимаю... Оружие?

– Нет. Деньги.

На какую-то долю секунды генерал испугался, что покраснеет, потому что Пуанкаре впился в него своими пронзительными буравчиками, будто в душу влезал. Потом Пуанкаре подвинул генералу блюдо и сказал:

– Вот сыры. Они прекрасны.

ЛУБЯНКА, 2

Дзержинский отошел к окну. Над городом занимался промозглый рассвет. По-прежнему хлестал шалый весенний ливень. Где-то далеко звонили колокола.

– К заутрене, – тихо сказал Владимиров.

– Послушайте, Всеволод, – спросил Дзержинский, – а вы часто проклинаете все и вся? За то, что у вас нет имени, нет семьи, нет дома?

– Часто.

– После Ревеля я обещал вам отдых.

– Его не будет?

Дзержинский покачал головой.

– Я понимаю. Куда?

– К Меркуловым. Во Владивосток.

Дзержинский включил настольную лампу. В комнате стало сине. Черный провал окон был словно вдавлен в серое небо. Над Лубянской летели белые голуби. На Красной площади малиново перезванивали куранты. Дзержинский положил руку на плечо Владимирову, долго смотрел ему в лицо, а потом тихо и до боли грустно сказал:

– Когда возвратитесь, Всеволод, обязательно заведите двух сыновей. А еще лучше – двух сыновей и дочь. Память отцов хранят дети. К обелискам я отношусь отрицательно, да и потом Древний Рим доказал всю их относительность. К тому же людям вашей профессии обелиски не ставят. Вы относитесь к той категории людей, которые призваны быть маршалами без имени, о которых никогда не узнают победители-солдаты. Молчаливый героизм. Мужественный. И самый трудный. Так-то. Ну, давайте пить чай.

Дзержинский намазал маслом кусок хлеба, посыпал сахаром и, положив на тарелку, разрезал на несколько ломтиков.

– Угощайтесь, – сказал он, – заварка отменно хороша.

Выпив чаю, Дзержинский стал ходить по кабинету. Говорил он быстро, но каждая его мысль была сформулирована четко и ясно до предела:

– Владивосток в течение ближайших месяцев будет некоей лакмусовой бумажкой, по которой мы сможем судить о «колебаниях цен» на международной антисоветской бирже. Следовательно, прежде всего нас будет интересовать политическая ситуация во Владивостоке, столице «черного буфера». Я не обязываю вас сделаться прозорливой Кассандрой, но мы здесь будем очень ждать ваших прогнозов на будущее, которые должны быть основаны на тамошнем видении ситуации, беспощадно частном и нелицеприятном для нас. Это главное. Дальше: вам нужно будет постараться нащупать уязвимое звено в японо-американских противоречиях, с одной стороны, и, с другой – выявить такие же противоречия между Меркуловыми и атаманом Семеновым. По нашим сведениям, он сразу же начнет драку с Меркуловыми за власть. В эту драку надо будет постараться подлить масла – тогда зачадит. Но если это будет сопряжено с риском – оставьте и не встревайте. Для нас самое важное – получать от вас точную информацию из самого мозга белого движения на Дальнем Востоке. Теперь о контактах: первым, кто введет вас в конкретную

обстановку Владивостока и мятежа, будет Постышев. Он единственный, к кому вы явитесь в Хабаровске. Завтра же вы познакомитесь у Склянского в Реввоенсовете с Блюхером. Он назначен военным министром Дальневосточной республики. Это будет второй канал, через который мы с вами будем поддерживать контакт. Теперь о некоторых существенных деталях...

ПОЛТАВСКАЯ, 3

КОНТРАЗВЕДКА

Полковник Гиацинтов сидел на подоконнике. Глаза его были полузакрыты, подбородок опущен на грудь; тихо и распевно читал он Блока: «О подвигах, о доблести, о славе...» На диване полулежал князь Мордвинов. Был он похож на татарина: лицо плоское, спокойное, кожа на подбородке и под носом девичья, свежая; растительности почти нет. Френч князь повесил на спинку кресла, и сейчас, на старинном кожаном диване, в галифе и тонкой шелковой рубашке, он казался гусаром прошлого века. Лежал он картинно: нога за ногу, мыски вытянуты, как у балерины, голенища начищены до антрацитового блеска.

– Юрочка, – сказал Гиацинтов, оборвав строку, – право, плюньте на все это. Научитесь спокойствию в мышлении. Вас там непременно

схватят и через месяц шлепнут в чекистском подвале.

– Может быть. Но если мы все будем сидеть кротоми, тогда уж наверняка нас с вами шлепнут в здешнем подвале через год-другой. Чтобы сохранить себя – надо драться.

– Неужели вы не видите, что мы проиграли? Мы гальванизируем труп, в демократию играем. В России истинную демократию можно завоевать и сохранить только штыком и пулей. Иначе народец наш демократию прожрет, пропьет и проспит. А мы, помните, в либералов играли. Юный социалист бомбу кидает в губернатора, а ему десять лет ссылки. А он через пять месяцев в Женеве пиво жрет. Развратили народ либерализмом. Он в нашем прусско-татарском государстве неприемлем. Сочли, что демократию штыком неловко охранять – просвещенная Европа смотрит. Ай-яй-яй, как же мы Россию профукали, а?! Юрочка, умница вы моя, через год мы с вами в Шанхае улицы будем подметать, если только не чудо...

– Перестаньте, Кирилл, это цинизм.

– Смешно. В России испокон века смотреть правде в глаза считается цинизмом. Ну что ж... Я испытал все пути, князь. Тогда давайте перейдем к нашим играм. Я вам назвал бы кадрового

военного Блюхера и комиссара Постышева, пользующегося громадной популярностью. Но я назову только одного Блюхера, потому что завтра вечером Павел Постышев должен сыграть в ящик. Если вы повторите подобное с Блюхером – будет прекрасно. Но если, упаси бог, попадетесь, вам надо будет сделать еще одно дело. Если вас схватят после убийства Блюхера, вас ничто не спасет. Коли же схватят случайно, вы постарайтесь спастись, дав показания в ЧК о том, что вы безобидный связник, пришедший из-за кордона, чтобы наладить контакт с подпольной организацией офицеров и генералов во главе с Гржимальским.

– Зачем, Кирилл?! Это подло!

– Если вы пришли к нам, князь, то вам придется несколько пересмотреть прежние понятия о подлости и честности. Вы поступите как патриот России, потому что красные увлекают к себе кадровых военных; они таким образом становятся сильнее в военном отношении, понимаете меня? Необходимо оставить большевиков с их же быдлом, а кадровиков посадить в тюрьму до нашего возможного прихода. В большом надо уметь жертвовать малым, не так ли?

– Скажите правду: ваш скепсис – это ход картежника, который боится спугнуть талию?

– С вами опасно сидеть рядом, князь. Вы ясновидящий.

Гиацинтов вызвал адъютанта, вечно сияющего вкрадчивого Пимезова, и спросил его: – Воленька, не сочтите за труд поинтересоваться: из Хабаровска никаких новых известий не поступало?

– О Постышеве?

– Да.

– Я уже интересовался, Кирилл Николаевич. Пока ничего.

– Нет вестей – уже хорошие вести, – сказал Гиацинтов задумчиво. – Барон Унгерн обожает повторять эту фразу, а он фанатик веры, я отношусь к нему с большим доверием. Я прошу вас, Воля, все время следить за новостями.

– О, конечно, Кирилл Николаевич.

Адъютант неслышно вышел из кабинета. Гиацинтов остановился напротив Мордвинова, долго на него смотрел, а потом сказал задумчиво:

– А то плюньте на все, князь. Оставайтесь, право слово, а?

ХАБАРОВСК

ЦЕНТР

Утром город был одет голубым туманом. Снизу, с Канавы, тянуло горьковатым дымком – во дворах жгли мусор. С реки поднимался туман, и город стал похож на Петроград: дома, вывески, деревья на Муравьево-Амурской улице зыбки и смотрятся словно через папиросную бумагу. Хабаровск еще не проснулся: редко прогрехочет извозчик по булыжнику, простучат каблучки по тротуару, и снова влажная тишина ложится на город.

Постышев в кожаной куртке, подняв воротник, вышагивал по улице.

Возле дома, где помещался профсоюз конторских служащих, толпилась очередь: дамочки в потертых пальтишках с облезлыми соболями, сухощавые, тщательно выбритые мужчины в офицерских шинелях без погон, два милиционера и делопроизводитель исполкома Лысов.

Постышев остановился и негромко спросил даму в шляпке с заштопанной вуалеткой:

– За чем стоим?

– Скоро будут выдавать благотворительные американские посылки.

Ни милиционеры, ни Лысов Постышева не видели, а если б и увидели, так не сразу признали бы: фуражка надвинута низко на глаза, воротник приподнят, только торчит у комиссара Восточного фронта нос и топорщатся коротко подстриженные рыжие усы.

– Вы слышали, – говорят в очереди, – оказывается, из чикагского яичного порошка можно прекраснейшим образом делать кексы.

– Что вы говорите?! Их яичный порошок сделан из нефти, от него химией воняет за версту.

– Нефтью стали рак лечить.

– В России теперь у каждого рак души, а тут нефть бессильна.

– Что же вы предлагаете?

– Нагайку. Прекрасное лекарство.

– Я б яичным порошком большевиков кормил, от него брюхо пучит и газом-с отходит.

– Сударь, здесь дамы.

– Какие это дамы? Проститутки.

– Они же старухи!

– А вы старых проституток не видели? Особый смак! А вон в вуальке – спекулянтка. Э, милиционер, махорки нет?

Милиционер обернулся, чтобы ответить, и заметил серые спокойные глаза Постышева. Минуту он вспоминал, где видел эти глаза, а вспомнив, легонько толкнул локтем товарища.

– Влипли, – прошептал он, – комиссар тут.

– Можно вас в сторонку? – сказал Постышев милиционеру.

Не дожидаясь ответа, комиссар перешел улицу и вышагивал до тех пор, пока очередь не исчезла, растворившись в тумане. Он остановился возле тумбы, на которой были расклеены афиши. Сразу же полез за папиросами, закурил, зло отшвырнул спичку, нахмурился и, не оборачиваясь, тихо спросил:

– Ну?

Трое – за его спиной – молчали.

Постышев резко, корпусом развернулся.

– Нищенствуем? – гневно спросил он. –
Подачку кланчим?

Милиционер – тот, что постарше – поднял голову, и Постышев увидел, как тряслось его одутловатое, с желтизной лицо.

– Я в семье сам – шестой, товарищ комиссар. Четверо мальцов у меня. Младшенькому – год. У него живот вздутый и ногти не растут...

– У меня трое, – сказал второй милиционер.

– Жена в чахотке, – пояснил Лысов. – Кровохарканье третий месяц. И дочка при смерти. Я им бекон на сальце топлю...

Тихо в городе. Спит еще Хабаровск.

– Я понимаю, – враз сникнув, сказал Постышев, – я понимаю... Что же делать-то, а?

– Так вам видней, товарищ Постышев, – жестко ответил Лысов. – На то вы и комиссар...

– Детишек очень болезненно хоронить, – сказал милиционер, – они в гробу махонькие и до того тихие, что глохнешь...

– Зайдите ко мне в штаб завтра утром, – сказал Постышев.

Ушел он быстро, еще больше ссутулившись, вышагивая длинными тонкими ногами с выпирающими коленями – широко и торопливо.

ГАЗЕТА «ВПЕРЕД»

Заместитель редактора Григорий Иванович Отрепьев – поэт. Ночами не спит, учится технике стихосложения, даже пожелтел весь, насквозь светится. Оттого страсть как нервен.

– Пал Петрович, – прокричал он Постышеву, который вешал свою кожанку на ржавый крючок за дверь, – есть тема для хорошей басни. Понимаешь, военное начальство по железной дороге без билетов ездит, а если контроль – наган ему в нюх, и весь разговор. Я тут басенку накидал, посмотри.

– Басня, – усмехнулся Постышев, – это литература угнетенных. Ты впрямую пиши, с фамилиями и полными именами.

Постышев был первым редактором этой газеты. Поэтому и сейчас он проводил здесь, в маленькой типографии, возле метранпажа Моисея Соломоновича, час-другой, но обязательно каждый день. Читает комиссар поредакторски: быстро и с карандашом.

– Давай-ка посмотрю.

– Посмотри...

– Нет, – раздраженно сказал Постышев, пробежав глазами строки, – от такой басни ни холодно, ни жарко. Тут деликатничать нечего. Пиши впрямую, как есть.

Отрепьев пожал плечами:

– Берешь ответственность, Петрович?

– Беру, Гриша, беру.

– Ладно. Сейчас в типографии имена переберу, всех обзову по правде.

– Обзови, – усмехнулся Постышев и отошел к окну, где лежала свежая верстка.

Он просмотрел полосы и сердито потушил окурок в старой консервной банке.

– Послушайте, Моисей, вы когда-нибудь подсчитывали, сколько слов в нашей газете?

– Много, – скорбно ответил Моисей Соломонович. – Очень много пустых слов.

– Я сегодня ночью подсчитал: у нас в газете употребляется четыреста слов! Понимаете? Всего четыреста из сорока тысяч в словаре русского языка. Не статьи – а интендантские отчеты. В сон

клонит. Или вот, пожалуйста, верстаете на первой полосе: «Нашедшего енотовую муфту, пропавшую в то время, когда я продавал открытки советских вождей, прошу оную вернуть гражданину Цыплятнику в горторг».

– Гражданин Цыплятник платит за объявление золотом.

– Четвертая полоса есть для Цыплятника.

– Если мы объявления станем печатать на четвертой, кто будет читать первую?

– Это зависит от того, как сверстана первая полоса.

– Вы же видите, как она сверстана: «Ударим по спекулянту». Уже сколько раз по нему ударяли, а он все-таки жив. Может быть, в том, что он жив, больше вины комиссара Постышева, чем гидры мировой буржуазии?

– Крестьянка, которая тащит на базар молоко, чтобы потом детишкам купить букварь, – не спекулянтка, хотя кое-кто склонен ее в этом обвинять. Тут есть вина комиссара Постышева, не спору.

В редакцию вернулся Отрепьев.

– Слушай, Пал Петрович, – сказал он с отчаяньем, – ей-богу, нет сил работать. Пять человек на всю типографию. Мое письмо у тебя месяц лежит – прибавь две единицы.

Не отрываясь от газетных полос, Постышев ответил:

– Наоборот. Я у тебя одну единицу забираю. И паек с деньгами делю между милицией и исполкомом. У них люди голодают. И не кричи, Григорий Иванович, тут крик не поможет. Хоть басню пиши.

Курьер положил перед Постышевым только что полученные сводки телеграфного агентства ДВР – Даль Та. Постышев быстро пролистал бланки с последними новостями. На одном сообщении он задержался. Обхватив голову руками, изогнулся вопросительным знаком, фыркнул.

– Ну-ка, прямо в номер. Моисей, снимите объявление Цыплятника, пусть поищет муфту завтра. Тут интересный материал: присуждение Нобелевской премии. Кандидатами выдвигались Горький, Герберт Уэллс, Бернард Шоу, Габриэль д'Аннунцио и Анатолий Франс.

– Максимычу дали! – обрадовался Отрепьев.

– Горький, Франс и Аннунцио вычеркнуты за «близость к идеологии коммунизма». Бернад Шоу и Герберт Уэллс отведены из-за того, что им свойственна «ветреность во вдохновении». Премию получил маркиз О Кума.

– Это кто ж такой?

– Знать надо. Японский дипломат. Двадцать одно требование Китаю он писал. Сволочь. Ну-ка, я комментарий в номер сделаю, и быстренько в штаб. Громов у меня задурил.

ШТАБ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА

Комбриг Громов пил чай быстрыми глотками, обжигаясь. Лицо его было скорбно, будто у обиженного ребенка.

– Я ничего не понимаю, Павел, – говорил он, – я два дня его речь с карандашом читал. И что же? Я работал в подполье, я дрался с Колчаком – вон две дыры в груди. А теперь? Допуск частной собственности и капитализм! И кто же это говорит?! Это же Ленин говорит, Павел!

Постышев рассеянно слушал Громова, смотрел в большое итальянское окно и молча, тяжело затягиваясь, курил. Папиросу рвало красными искрами, сжимало, бумага желтела и прожигалась изнутри черно-красными кружочками, будто взрывчиками. В кабинете плавал слоистый фиолетовый дым. В двух пепельницах высились горы окурков.

– Значит, все двадцать лет борьбы впустую?! Значит, каторга девятьсот третьего года псу под хвост?! Девятьсот пятый к черту?! Значит, прощай, революция?! И кто это провозгласил с трибуны съезда, Павел?! Ленин! Да я ж лучше еще десять лет с пустым брюхом прохожу, чем буржуя терпеть! Э, чего там говорить...

– Говорить есть чего. Ты в партии двадцать

лет, ты у нее ничего не просил, потому как ты ее солдат. Мы с тобой не в счет. А рабочий, который бросил станок? А мужик, что от земли ушел? Зачем? Во имя лучшей жизни он все бросил.

– Так он же свободу получил!

– Голодной свободе грош цена. На голодной свободе тираны рождаются. Да и не свобода это, если она голодная, а рабство навыворот.

– И слово какое пузатое – нэп! Теперь в каждом хозяйчик проснется... И вместо того чтобы его по шапке, – наоборот, гладь его, сучару, по головке. Развратят народ, погубят.

Постышев поднялся. Длинный, худой, нескладный.

– А ты зачем? – взорвался он. – Партбилет в кармане носить? Охать да ахать, если непонятно? А вот ты смоги так, чтоб рабочий на твоём заводе жил лучше, чем на фабрике у буржуя! Смоги! Воевать выучился, а вот теперь торговать выучись. Строить! Хозяйствовать! Не научимся – сомнут. Вот что Ленин сказал! Ишь герой – в атаку поднимать. Не гордись – обязан! А ты за прилавок стань! Что? Не нравится белый фартук? Ты чистый, а торговец не чистый? Не с руки тебе торговать, да? Не коммунизм это, да? А что ж такое тогда феодализм? Феодал – он тоже одни

турниры да войны уважал, а строитель с торговцем для него вовсе не люди. Смотри, Громов, феодалом станешь. Это я серьезно тебе говорю. Я вот тебя в гормилицию с такими настроениями пошлю, там голодуха, я посмотрю, как тебя на тачке вывезут с твоей ортодоксальностью. Имей в виду – ортодокс иногда хуже врага может стать.

После долгой тяжелой паузы Громов ответил:

– Нет, Павел. Не понять мне этого.

– А ты подумай. Не поймешь – клади партбилет, так честно будет.

– Партбилет я тебе не положу, он мне вместо сердца. А драться стану.

– Это валяй. Тут я тебе мешать не могу. Только с кем драться собираешься? С Лениным? Слаб.

Громов поднялся, яростно оттолкнул кресло, пошел к двери не прощаясь. Постышев долго смотрел ему вслед – задумчиво и устало.

Молоденький адъютант заглянул в кабинет, тихо доложил:

– Товарищ комиссар, к вам из Москвы.

– Кто?

– А он фамилию не говорит и мандата не кажет. Морда у них больно аккуратная – я на всякий случай в политохранилище брякнул.

– Это как должно понимать – брякнул?

– Понимать так, что позвонил.

– Ну, тогда зовите, – усмехнулся Постышев.

В кабинет зашел Владимиров.

– Здравствуйте, – сказал он, – я от Феликса Эдмундовича.

Постышев прочитал мандат, потом, как и предписано в мандате, сжег его, усадил Владимирова, устроился напротив него и спросил:

– Когда будем говорить: сейчас или передохнете?

– Если можно, передохну. В теплушках не поспишь.

– Ложитесь на диван. Если я уйду – вот здесь все материалы для вас. Подполье – в синей папке. В зеленой – меркуловцы. Прочитайте, есть занятные документы. Даже кто как в покер

играет. И какие взятки берет на бегах секретарь премьеры господин Фривейский. Сейчас шинельку принесу, укурю вас. И окно пошире откроем – с Амура свежестью тянет.

Владимиров отошел к дивану, сбросил сапоги, вытянул ноги, стащил до половины пиджак и сразу уснул, словно потеряв сознание. Постышев на цыпочках подошел к окну и пошире открыл створки. Сизый табачный дым потянуло, словно в трубу. На столе зашелестели бумаги. Захлопала на стене огромная карта. А на карте синие стрелы – острые, злые – со всех сторон направлены на ДВР: и с Владивостока, и с Китая, и с Монголии.

Постышев взглянул на Владимирову. Тот спал, сложив руки на груди, как покойник. Вспомнилась шифровка из Владивостока: трое связных расстреляны в контрразведке белых. В нашем штабе, возможно, сидит их человек.

В дверь постучались. Постышев спросил шепотом:

– В чем дело?

В кабинет заглянул шофер штаба Ухалов.

– Куда едем, Пал Петрович? – В городской театр, там учительская конференция бушует.

Ухалов лениво глянул на спящего и вышел.

ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

В зале полно народу – яблоку упасть негде. За столом президиума взволнованные, часто переговаривающиеся люди. Они что-то писали на маленьких клочках бумаги, рвали написанное, то и дело посматривая на Постышева, который сидел с краю и был отделен от остального президиума пятью пустыми стульями. На трибуне сейчас человек в пенсне, борода клинышком, под мятым пиджаком – ослепительной чистоты рубашка и большой, красиво повязанный черный галстук.

– И вот, извольте ли видеть, – налегая грудью на трибуну, говорил он, – является ко мне комиссар с трехклассным образованием и молвит свое просвещенное слово. «Ты, говорит, буржуйская твоя харя, почему не читаешь детишкам народные стихи Демьяна, а вместо них читаешь помещика Пушкина?» Говорит, а я чувствую: он пьян! И с красным бантом на груди!

Постышев подождал, пока в зале утихнет возмущенный гул, и бросил с места реплику:

– Вас возмущает красный бант или запах алкоголя?

На галерке и в задних рядах – смех, передние ряды хранят молчание, хотя некоторые сдерживают улыбку; в президиуме суетня и быстрое перебрасывание записками. Председательствующий позвонил в колокольчик и нервно призвал уважаемое собрание к спокойствию. Оратор, несколько оправившись, продолжал:

– Уж если гражданами большевиками провозглашена свобода, то позвольте учить детей на тех примерах, которые близки мне! А стряпня разнузданного хулигана и футуриста Маяковского отдает половой распущенностью. Не мешайте, – обращается оратор к Постышеву, – сеять разумное, доброе и вечное! Вы пишете директивы, а я отвечаю за души детей! И воспитывать их в зверстве, распускать в них инстинкты я не позволю никому, чего бы мне это ни стоило! Я знаю, что грозит мне за это выступление, но я не могу молчать!

Первые ряды рукоплещут, президиум – весь в улыбках, ядовито поглядывает на комиссара, только на галерке и в задних рядах шум и говор. Постышев сидел, подперев голову кулаками, смотрел задумчиво в одну точку – и вроде бы нет его здесь.

На трибуну, продираясь сквозь тесно сидящих в проходе, вышел парень в гимназическом

френчике, перепоясанном солдатским ремнем. Лицо у него удлиненное, нервное, бороденка и усы под Дон-Кихота, на белых щеках горит нездоровый румянец, видимо туберкулез у парня. Не дожидаясь тишины, он начал говорить, выкрикивая фразы в разномастный зал:

– Пусть гражданин Широких тут не играет в святую добродетель. Для него Маяковский – символ революции, и нечего болтать про половые инстинкты и распущенность! Для вас футуризм так же страшен, как и большевизм! Вы хотите растить из детей беленьких херувимчиков? Не позволим! Основа развития – борьба, и мы должны воспитывать подрастающее поколение солдатами, ибо история человечества – это история войн! Так было, так есть, так будет! А сладенький пацифизм Широких идет совсем от другого! Это он сейчас пацифист, а завтра он станет учить детей белогвардейским гимнам! И я этого господинчика за его речи, в порядке профилактического предохранения, предлагаю изолировать к чертовой матери! Меньше двоек пролетарскому элементу всадит!

В зале – грохот, свистки, вопли, возмущение, овации, визг.

Постышев поднялся со своего места и неторопливо пошел к трибуне. Он долго откашливался, а потом заговорил – глуховато,

по-волжски окая:

– Тут мне придется на два фронта сражаться. И с учителем Широких, и с его молодым оппонентом, который, по-видимому в силу юного возраста, вообще к учительству относится как к сплошному классовому врагу. (Смех.) Молодой товарищ, как я заметил, увлечен теорией профессора Леера, который утверждал, что война есть главный импульс продолжения жизни на земле. Леер приводил одним из главных доводов в защиту своей теории тот факт, что война началась с появлением человека, ибо мужчины дрались друг с другом за женщину – не за прекрасную возлюбленную, а за ту, что приносит потомство, только лишь. Однако дальнейшую эволюцию человечества Леер опускал, потому что она против него. Действительно, примитивное проламывание черепов сменилось рыцарскими турнирами. Но и это прошло. Турниры и дуэли сменились маскарадами, а за женщину воюют прекрасной строкой Пушкина. (Аплодисменты учителей.) Иные причины порождали и порождают войны. История человечества, молодой мой товарищ, есть все-таки история мира, но не история войн. А с учителями следует вам уважительно говорить, право слово... Не надо так. Обвинения клеить – последнее дело. Вот так-то. А вы, учителя, обязаны растить молодежь широко и

всесторонне образованной, понимающей истинные причины войны и мира, добра и зла. Отвечаем за детей мы, большевики. Мы доверили вам, учителям, воспитание новых *человеков*. Но мы, гражданин Широких, можем вас из школы изгнать, если вы не приемлете нас. Если вы против нас – боритесь! Я уважаю открытый бой. Но не все идут на открытый бой. Большинство шушукается. Деритесь, но не шушуйтесь! Нет ничего страшнее учителя-двурушника, который исповедует в душе одно, а вслух проповедует обратное. (Овация галерки и амфитеатра). Что-то, правда, учительство со мной не очень соглашается? Или молчание в данном случае синоним согласия? (Смех на галерке и в амфитеатре.) Я думаю, это проявится при голосовании за резолюцию в целом. Повторяю: вы можете любить или не любить Маяковского – это дело ваших личных вкусов, но вот свободы учить чему заблагорассудится одному лишь Широких – такой свободы мы вам не давали и не дадим!

Постышев медленно возвратился на свое место. Галерка и амфитеатр, поднявшись со своих мест, аплодировали. Партер – островками. Председательствующий поднялся и несколько растерянно провозгласил:

– Перерыв!

Широких, отталкивая острыми локтями окружающих его людей, торопился за Постышевым, который шел к выходу.

– Послушайте! – закричал Широких. – Послушайте! Комиссар!

Постышев обернулся и подождал, пока учитель пробьется к нему сквозь жаркую, шумную толпу.

– Вы, оказывается, интеллигентный человек, – сказал, отдышавшись, Широких, – просто-напросто интеллигентный.

– Стараюсь. Вот ораторскому искусству не учен – так что простите за резкость, ежели была. Но искренне говорю вам: учительство считаю нашим цветом и надеждой нашей. А с надежды особый спрос. Вот так-то. Всего вам наилучшего.

Постышев протянул Широких руку, тот пожимал ее, жадно рассматривая комиссарово худое лицо.

В перерыве Широких взволнованно ходил от одной группы к другой:

– Я потрясен, господа! Он мыслит широкими категориями, этот Постышев, он мыслит! Неужели мужик пробуждается? Неужели жизнь

не зря прожита?!

– Перестаньте, Платон Макарович... Ему эти речи еврейчики пишут, а он их по ночам зубрит. Глаза у него оловянные. Или не заметили?

– Злобствование, – возразил старичок в золотом пенсне, – наихудший аргумент в споре. Комиссар – фанатик, но он умеет логично мыслить.

– В нем есть мужицкая доброжелательность, – согласилась дама из женской гимназии грассирующим басом.

– Я проголосую за их резолюцию, – сказал старик в пенсне.

– Ну, уж извините... Надеюсь, вы, Широких, против?

– Я воздержусь, – задумчиво ответил Широких, – пока что я воздержусь...

КАБИНЕТ ПОСТЫШЕВА

Владимиров сидел за столом, перелистывая бумаги в папках, оставленных ему Постышевым. Павел Петрович, вернувшись из театра, подивился тому, как гладко причесан его гость; лицо свежее, будто спал он не два часа, а добрых

десять; щеки лоснятся после бритья, и в прокуренном кабинете легко пахнет довоенным сухим одеколоном.

– Эк вы, однако, лихо со сном управились, – сказал Постышев, – я думал, вы часика три-четыре на ухо надавите. До восьми еще времени хватит.

– Выход назначен ровно на восемь?

– Да. Надо, чтобы вы ночью перешли границу нейтральной зоны.

– Я просмотрел материалы из Владивостока. Увы, там слишком много благоглупостей и сплетен. Пишут, например, что Меркуловы – болваны и кретины, Гиацинтов – глупый трус, японцы – хуже баранов, американские резиденты – доживающие последний день кровавые империалисты. Если Меркуловы – кретины, то мы, следовательно, еще большие кретины: кому проиграли, кому Владивосток отдали?! Если полковник Гиацинтов трусливый болван, то почему все-таки наши люди взяты его контрразведкой? Что за манера у нас такая появилась идиотская – безответственно болтать о враге все, что угодно, только потому, что он враг?! Как тут не вспомнить про услужливого дурака! Простите, Павел Петрович, – оборвал себя Владимиров, – просто я очень зло

принимаю фанфаронство и комчванскую благоглупость.

– Ничего, ничего, вслух посердиться – куда как облегчает. Я иной раз по ночам в кабинете ору – стены звоном дрожат. Помогает. Теперь я хочу вам кое-что порассказать. Сейчас во Владивостоке было несколько очень подозрительных арестов в большевистском подполье: по-видимому, в организацию проник провокатор. Поэтому вам придется работать пока что автономно. Вас найдут, когда в этом появится необходимость, вы сами никого не ищите. Связь у вас будет идти через товарища Чена. Это Марейкис, бухарец, опытный чекист. На корейца похож, поэтому – Чен. У него налажена почта через торговцев наркотиками, которые ездят в Харбин. Но это, как говорится, его дело. Ваше определено для вас Феликсом Эдмундовичем достаточно точно. Предпринимать что-либо вы можете только в экстреннейших случаях. По обычным делам не надо, сдерживайте себя, как ни горько порой может быть. Теперь еще вот что: во Владивосток приехал из Дайрена ваш знакомый – Ванюшин, редактор «Ночного вестника».

– Николай Иванович?!

– Да. Вы, кажется, у него работали при Колчаке в пресс-центре?

– Громил красных дьяволов печатным словом.

– Как вы с ним расстались?

– Товарищами. Он считает, что я эмигрировал в Лондон.

– Это очень здорово, потому что сейчас Ванюшин – третий человек, сразу же за Меркуловыми.

– Любопытно.

– Теперь вот что... С финансами у нас, как всегда, ни к черту, поэтому мы только самую малость для вас приготовили.

– Я понимаю.

– Когда пойдем знакомиться с провожатыми, обговорим запасные формы связи. Пароль... Хотя, пожалуй, пароль там не нужен. Чена вы по фотографии узнаете, слова тут ни к чему. Встретит вас на вокзале Васильев, он легал, руководитель профсоюза грузчиков, это – вторая, запасная ваша связь. Парень он обаятельный, добрый парень. Любимец рабочего Владивостока. Если, не дай бог, какие-нибудь неожиданности – Чена найдете в кафе «Банзай». Ванюшина – в ресторане «Версаль».

Сухо затрещал телефон. Постышев снял трубку:

– Я слушаю. Кто? Трибунал? Что у вас? Филиповский?! Не может быть! Я приеду на допрос.

Он швырнул трубку на рычаг и брезгливо поморщился. Посидев мгновение в неподвижности, он рывком поднялся, сказав:

– Ну что ж, пошли собираться. С командующим познакомлю: Степан Серышев – великолепный человечина. Пошли.

Постышев пропустил Владимирова перед собой, положил ему руку на плечо, заметив:

– Экое у вас плечище-то железное, просто Самсон...

– Чтобы не появилась Далила, надобно будет срочно обстричь волосы, спокойней как-никак...

Они быстро шли по длинному коридору штаба, весело переговариваясь, и свет из окон то выплескивал на них солнце, то – в простенках – мрак поглощал их. Но когда их поглощал мрак, все равно был слышен глуховатый бас Постышева и низкий широкий смех Владимирова. Так шли они рядом, а потом скрылись за тяжелой дубовой

дверью.

ВЛАДИВОСТОК

РЕЗИДЕНЦИЯ МЕРКУЛОВА

Премьер приамурского правительства незаметно для себя подражал – даже в мелочах – Александру Федоровичу Керенскому. Он носил такой же полувойенный костюм, так же сидел в автомобиле – сзади, справа от шофера, так же ласково улыбался офицерам, которые картинно козыряли ему, когда лимузин с трехцветным романовским флажком на радиаторе проезжал по Владивостоку, так же говорил: сначала чуть слышным, усталым голосом, а когда разойдется, не остановишь – мечет Спиридон Дионисьевич грома и молнии, картинно жестикулирует, только, в отличие от Керенского, часто поминает бога.

Через пять дней после переворота, когда меркуловцы похоронили своих героев, он позвонил Николаю Ивановичу Ванюшину, только что вернувшемуся из Харбина, заехал за ним на Алеутскую в редакцию и сказал шоферу:

– На Эгершельдское кладбище.

За окном мелькали маленькие домишки, тускло поблескивали рельсы, отходящие от

вокзала к портовым пакгаузам, набитым миллиардами: здесь хранятся товары, полученные Россией от союзников начиная с четырнадцатого года. Чего только нет в этих пакгаузах: медь, цинк, бумага, сукна, снаряды, винтовки, сеялки, грабли, презервативы, танки, шелка! Словом, золото лежит в пакгаузах, истинное золото, а охраняет это несметное богатство японский часовой. Ходит медленно, штык короткий, взят наизготовку, шаг печатает ровно, как на параде.

Меркулов молчал, а Ванюшин что-то под нос себе мурлыкал – не иначе, как Пушкина. Лучший знаток в городе, позавчера лекцию читал в университете – не протолкнешься.

Шофер резко притормозил. Меркулов вылез из машины первым. Замер на ветру: сухонький, росточка маленького, фуражка надвинута на глаза. Ванюшин вывалился из машины тяжело, с одышкой: последние два дня много пил с новым членом правительства Сержем Широкогоровым. Этнограф и биолог, Широкогоров по-своему видел концы и начала эволюции человечества и умел рассказывать так, что не пить нельзя было, ибо все равно – по его выкладкам – в мир шло скотство.

– Прошу, Николай Иванович, – пригласил Меркулов, – тут недалече.

Меркулов шагал между могилами быстро, ориентируясь в кромешной темной ночи, как днем. Ванюшин брел за ним, спотыкаясь, ничего еще толком не поняв, и очень сердился, потому что в штиблеты заливалась холодная чавкающая грязь.

В сером беззвездном небе висел дынный огрызок месяца. Слышно было, как над заливом зло орали чайки.

«Молодой месяц, – подумал Ванюшин, – только родился. Слева. Значит, можно на счастье загадать».

На фоне серого неба, словно огородные чучела, печатались черные кресты. Город вдали моргал керосиновыми огоньками. Выли собаки в Эгершельдском поселке. Ветер налетал порывами. На рейде тоскливо кричали пароходы.

Меркулов остановился. Возле свежих крестов белели венки и увядшие цветы. Здесь были похоронены герои недавнего белого переворота.

– Тут, – сказал Спиридон Дионисьевич, упав на колени, словно подрубленный, – тут начинается история новой России.

«Неужто верит? – подумал Ванюшин. – Или играет, хочет, чтоб я это расписал – и в номер?»

Честолюбивы, черти, спасу нет!»

Меркулов истово молился, кладя земные поклоны, шептал быстрые слова, обращенные к богу. Ванюшин, стоя у него за спиной, молча и сосредоточенно курил, чувствуя себя неловко, будто подглядывал в замочную скважину. Премьер молился долго, потом молча поднялся, почти бегом направился к машине. Сухо кашлянул, попросил шофера:

– Ко мне в ставку, будьте добры.

Когда лимузин въезжал в город, он обернулся к Ванюшину:

– Вам, видно, в газету? Номер небось не готов?

«Хочет старик попасть в прессу с сегодняшним представлением, – решил Ванюшин. – Не иначе, как за этим и возил. Умен ведь, а в этом – болван».

– Номер уже сверстан, – ответил он.

– Спасибо вам, Николай Иванович, что подарили время старику. И слова мои запомните: отсюда придет народу свобода. Здесь подыметесь светлый град Китеж со дна моря крови и слез русских. Остановитесь, шофер!

Ванюшин вылез из машины, долго смотрел вслед громадному «линкольну», потом тяжело вздохнул и отправился в ресторан «Версаль».

Фривейский стоял под портретом государя и наблюдал за реакцией Меркулова, который читал листочки, даже не сбросив своей солдатской шинели. Фривейский – секретарь Спиридона Дионисьевича. Он умен, ловок и держит себя довольно независимо. Меркулов-то сам из купцов, он независимость в людях ценит, а посему Фривейскому прощает, как никому, многое. Не любит его только в те моменты, когда личный секретарь мучается вспышками хронического люэса. В эти моменты Фривейский озлоблен и готов досадить кому угодно. В такие дни Меркулов просит своего «милого дружка» отдохнуть и не показываться в канцелярии. Но именно сегодня вечером Фривейский почувствовал рези и, вместо того чтобы уйти домой, принять лекарство и спокойно вылежаться, собрал листовки, газеты – и прямо на стол премьеру. А газеты – злючие! То, о чем все помалкивают, большевики высаливают – да еще с перцем, с солью, чтоб побольней.

Когда очередь дошла до рассказа о его, премьеры, торговых операциях с японцами, Спиридон Дионисьевич снял фуражку, вытер лоб платком и сказал горестно:

– Ну что за подлецы, боже ты мой праведный! Куш в два миллиона! Какая, право, подлость!

Всю жизнь торгует Спиридон Дионисьевич, и никто о нем плохого слова не говорил! Что это, зазорно, что ль, с фирмой контракт заключать?! Им выгода, но ведь и нам – польза! Ах ты, боже мой, сейчас по городу сплетни поползут!

– Какой тираж этой гадости? – спросил Меркулов, брезгливо тронув газету пальцем.

– Большой.

– Где остальные экземпляры?

– У читателей.

Меркулов поднял глаза на Фривейского, догадавшись, что у того вспышка, и опустился в кресло.

«Помощничек... Тоже, видно, ликует... За дверь бы и на улицу! И на порог не пускать впредь и навсегда!»

А нельзя! Умен. Умных людей Меркулов ценит. Умному надобно многое прощать.

– Идите отдохните, милый дружок, – сказал премьер. – У вас лицо с желтинкой. Не иначе, как

желудок мучает? Я вам попозже домашнего врача подошлю, он в желудочных заболеваниях горазд.

– Я перемучаюсь, – ответил Фривейский, – врач мне не нужен.

– Ну отчего ж? Мне это труда не составит. А газета... Пускай их пишут. Правда все равно себя скажет, история разберется, кто прав; она – жрица из беспристрастных...

После ухода Фривейского Меркулов вызвал по телефону полковника Гиацинтова, начальника контрразведки, и сказал ему:

– Кирилл Николаевич, миленький, послушайте, что о вашем премьере пишут. Ах, уж читали? Ну и как? Любопытные детали, не правда ли? Только удивляюсь: как это вы, офицер и дворянин, служите спекулянту и грабителю русского народа? Я – спекулянт, я, полковник! Да вы не кашляйте в трубочку, мне в ухо отдает. А коли смешно – смейтесь! Только я старый, я смешного гораздо перевидал на своем веку, посмешней того, что красные бумагомаратели выкобенивают, я и это переживу. А вот вы человек на службе! Мне что? Мне ничего! Я в отставку, и адье, а вам отставка крайнюю скудость означать будет. И потом – я отставку прошу, вам же ее дают.

Премьер опустил трубку на рычаг и пошел в маленькую комнату, соседнюю с кабинетом. В углу – киот. Меркулов опустился на колени – молиться. Просить мира на земле и благоволения человеком.

ПОЛТАВСКАЯ, 3

КОНТРРАЗВЕДКА

Гиацинтов в задумчивости держал телефонную трубку возле лба, потом аккуратно опустил ее на рычаг и вызвал Пимезова, своего помощника.

– Воленька, я попрошу вас пригласить ко мне полковника Суходольского и всех руководителей отделов.

– Слушаю, Кирилл Николаевич.

Через несколько минут в кабинете у начальника контрразведки собрались руководители семи важнейших отделов.

– Господа, я пригласил вас для того, чтобы сообщить неприятную новость, – сказал Гиацинтов. – Нам сегодня же придется провести аресты выявленных подпольщиков, не дожидаясь окончания работы по ликвидации всех скрытных красных. Увы, это не моя воля, я выполняю

приказ. Мы обязаны в ближайшие же дни выйти на их газету или в крайнем случае сделать так, чтоб она не попадала в руки к читателям. Но главная задача – захват московского представителя, который, по моим сведениям, направлен сюда, – становится трудновыполнимой, потому что подполье после наших сегодняшних арестов затаится, как никогда. Следовательно, особое внимание ко всем вновь появившимся здесь. Тех, кого мы заберем, спрашивать не только про газету, но и про московского гостя. А вдруг кто знает дату или место приезда? Хотя – это особая тема, и мы соберемся вскоре, чтобы ее детально обсудить. Имейте в виду, что красное подполье, которое сегодня мы начинаем забирать, в недалеком будущем окажется серьезной картой в нашей политической игре.

Гиацинтов оглядел своих сотрудников и усмешливо поинтересовался:

– Не тяжело объясняюсь, а? Так и заносит на усложненные обороты, будто на дипломатическом приеме нахожусь. Итак, прошу вас начинать аресты организовано, сразу по всему городу, чтобы никто из наших красных приятелей не ушел. Допросы проводить настойчиво, я обязан порадовать нашего премьера сообщением о найденной красной газете. С богом, друзья мои.

ХАБАРОВСКИЙ РЕВТРИБУНАЛ

В кабинете следователя ревтрибунала сидел Филиповский, старший руководитель группы по борьбе с вооруженным бандитизмом. Он арестован за то, что во время обыска у баронессы Нагорной похитил жемчужную осыпь. Сейчас он сидел, зажав кисти рук между коленями; на лбу капли пота, глаза воспаленные, красные, как у кролика. Следователь позвонил Постышеву и сообщил об аресте чекиста, а ведь полгода не прошло, как Павел Петрович самолично вручал Филиповскому именной маузер с серебряной планкой за беззаветную доблесть. И вот сейчас Постышев сидит напротив Филиповского, а тот глаз поднять не смеет, головой вертит и все время морщится, будто у него зубы болят.

– Ты не крути, Филиповский, – попросил Постышев, – ты давай честно.

– Я четыре года с белыми дерусь, я жизни не жалею.

– Погоди, погоди! Я о другом спрашиваю: как ты мог жемчуг украсть?

– Не воровал я! – глухо выкрикнул Филиповский. – Реквизировал...

– Врешь! Если б ты реквизировал, он бы в

казне оказался! А ты крал, как последний гад. Грязный ты человек, дело наше позоришь. Слепой я был, когда тебе маузер за доблесть вручал, слепой!

– Я четыре года воевал, я в атаку на белого генерала ходил.

– Про то молчи!

– Воля ваша.

– Моей воле – грош цена, тут что трибунал скажет.

– Неужто судить меня станут?

– А ты как полагаешь?

– Так я ж верой и правдой четыре года...

– Хоть сорок четыре! У вора нет прошлого! Товарищ, – спросил следователя Постышев, – доказательства у вас собраны?

– Сам признался.

– Это, конечно, хорошо, что сам признался. А свидетели есть? Факты есть?

– Свидетелей нет, и фактов нет, Павел Петрович, только что сам признался, без

давления.

– Цацки где?

Следователь достал из несгораемого ящика драгоценности и положил их на стол, покрытый пожелтевшим газетным листом. Постышев рассматривал жемчужную нить недоуменно и с ухмылкой.

– И за что такая цена? – спросил он. – Никак не пойму. Напридумывали людишки себе кумиров – и ну поклоняться им. А тебе нравится, Филиповский?

– Да разве я в них сведущий? Мне на базаре дед один сказал, что на камушки хлеба наменяет с салом и водкой. У меня в подчинении трое пацанов: один чахоточный, другой без ноги, а третьему шестнадцать лет, и за мировую революцию он сражается единственно по светлому энтузиазму. Госполитохра́на мы, а по ночам в мусорных ящиках за рестораном Хлопьева кожуру картофельную собираем, чтоб днем не позориться...

– У него дома обыск делали? – спросил Постышев.

– Какой у него дом? В подвале живет, как пес в конуре.

– Семья где?

– На кладбище, – ответил Филиповский, – порубана в девятнадцатом калмыковцами. Детям своим ни крохи не давал, когда в ЧК работал, голодали дети, а у меня тогда через руки золота буржуйского поболе проходило. А теперь по ночам глазыньки их вижу – пропади, думаю, все пропадом, хоть троих своих теперешних пацанов накормлю, тоже по земле смертниками ходят. Вон позавчера двоих наших зарезали в малинах. Так неужто и с буржуйских камушков не могу дать своим пацанам пожрать вволю и водки перед сном выпить?

Следователь отвернулся к окну, чтобы арестованный не видел его лица. Тяжело сопит следователь, больно ему слушать Филиповского, а закон какое к душе отношение имеет? Закон, он и есть закон, он по бумаге писан, не по сердцу.

– Ты мне нутро не вынимай, Филиповский, – сказал Павел Петрович. – Ты за троих своих пацанов в ответе. Это так. А сколько им жить на земле предстоит?

– Как выйдет. Пуля в рожу не смотрит...

– Ничего. Посмотрит. Так вот надо, чтобы твои пацаны жили в стране, где закон для всех один, а не такой, чтоб чего Филиповский захотел,

так то и вышло. Они подумать могут, что ты над законом, а не он над тобой. В трибунал пойдешь, товарищ.

Филиповский впервые за весь разговор вскинул голову:

– Ты как меня назвал, Павел Петрович?

– Я назвал тебя товарищем, – сказал Постышев.

Поднявшись, он сказал следователю:

– До суда отпустить. Возвращайся на работу, Филиповский. Ночью в городе двенадцать бандитских налетов зарегистрировано.

ГУБКОНПАРТ

За длинным столом, покрытым красным сукном, сидели комиссары Хабаровского укрепрайона. Выступал – весь в кожаном – комиссар стройбата, который занимается понтонной переправой через Амур. Комиссар говорил хорошо, с выражением, только правда, по бумажке. Выступать умеет; где надо, покричит, где надо, кулаком над головой взмахнет, а то вдруг на драматический шепот перейдет, что твой Шаляпин.

– Только смобилизовав свою стальную волю, – говорил он, – только подняв на должную высоту воспитательную работу, мы сможем взять светозарные рубежи и добиться новых успехов. Ни для кого сейчас не секрет, что дела наши идут хорошо...

Постышев бросил реплику:

– Куда как лучше! Бойцы твоего батальона третий день без каши сидят.

– Это детали, Павел Петрович. А я беру вопрос шире, я его в целом беру, как говорится. Продолжаю. За последние два месяца мы провели около сорока политбесед, охватив более девятистот сорока семи бойцов.

– Можно твой текст посмотреть? – попросил Постышев. – А то больно скоро говоришь.

Тот передал комиссару фронта текст. Павел Петрович неторопливо листал исписанные странички.

– Ты продолжай, товарищ, продолжай, – попросил он,

– Так ведь текст у тебя, Павел Петрович.

– А ты попросту говори, без текста.

Комиссар стройбата растерянно оглядел собравшихся и поднял над головой кулак: – Белая гидра контрреволюции, оскалив свою волчью пасть, бряцает ржавым оружием проклятого империализма! Их свиное рыло пытается хрюкать возле наших границ, угрожая счастью победившего пролетарьята! Не позволим!

Постышев спросил:

– Кому не позволим и что именно?

– Гидре, собственно говоря, не позволим.

– А какая она, гидра? С ногами? Или змееобразная? Ладно, садись, комиссар. Возьми свой доклад – липовый он. Я у твоих бойцов только что был.

– Можно мне, Павел Петрович? – спросил комиссар Особого амурского полка. – У нас вот какой вопрос: пока имеем передышку на фронте, помог бы с учителями. Народ грамоты жаждет. Я полагаю, что грамотность – она главнейшее подспорье в борьбе за мировую революцию.

– Вопрос толковый. Завтра утром выделю тебе троих педагогов – приезжай и бери. Кто еще?

– Я. С бронепоезда «Жан Жорес».

– Давай, «Жорес».

– Так я прикидываю, Павел Петрович, что политработа может человека засушить, как бабочку в гербарии, если одни беседы про счастливое будущее проводить, а при этом на глазах у бойцов отваливать военспецам по шестнадцать рублей золотом, не считая продовольствия.

Постышев прихлопнул ладонью по красному сукну, резко поднялся, зло посмотрел на моряка с «Жореса»: – Фамилия твоя, как помню, Солодицкий? Так? Отвечаю. Я сегодня получил шифровку из Владивостока. Там американцы всех наших профессоров, ученых, даже студентов к себе увозят, предоставляя им райские условия. Архивы скупают, библиотеки, за старые письма золото платят. А они счету денег получше нашего учены. Почему они так поступают? Потому как понимают, что будущее – за наукой, за спецами. А кто же нас задарма будет учить драться? Я? Могу тебя навыкам конспирации и подпольной полиграфии выучить. А Клаузевицу и Мольтке не могу. Зато они могут. Тебе волю дай – ты и Максима Горького на рубль суточных посадишь.

Постышев закурил и хмуро закончил:

– Прошу дальше. Только без трескотни, время цену знает. Давайте поговорим о том, как нас

партизанщина мучает, что будем делать, как переводить партизан в регулярные части. Это сейчас вопрос вопросов...

ШТАБ ФРОНТА

Шофер Ухалов спросил постышевского адъютанта:

- Можно в гараж ехать?
- Нет, комиссар кончит работать со сводками, и вы ему понадобитсяе на вечер.
- Куда двинемся?
- К морякам.
- Это внизу, на берегу Амура?
- Да.
- А домой я успею съездить?
- Валяйте. Но не больше часа.

В дверях шофер столкнулся с женщиной в невероятно старомодном наряде.

– Мне нужен гражданин комиссар, – сказала она.

– А вы кто такая? – удивленно уставился на нее адъютант.

– Я френолог и поэтесса Канкова. Я изучила тайны мира и человека, я предсказываю будущее по зрачкам и морщинам на висках.

– Что, комиссару погадать хотите?

– Передайте комиссару, что я слушала его на учительской конференции; скажите ему, что я внучатая племянница писателя Карамзина, и покажите два моих диплома – бестужевский и цюрихский.

Дама отошла к окну и села на стул. Адъютант с любопытством разглядывал хрустящие бумаги; шевеля губами, пытался прочесть латинские буквы, потом, продолжая читать по слогам, снял трубку дребезжащего телефона и ответил рассеянно: – Товарищ Постышев будет на флотилии ровно к девяти часам.

Опустив трубку, он сидел несколько мгновений в задумчивости над дипломами, а потом, свернув их в трубочку, ушел в кабинет комиссара. Через мгновение он вернулся и выкрикнул с порога: – Гражданка, валяй к комиссару!

– Садитесь, пожалуйста, – сказал Павел

Петрович, – неужели вы впрямь карамзинская родственница?

– Будь я родственницей его кухарки, мне жилось бы значительно вольготней. Я пришла потому, что слышала ваше выступление сегодня в театре. Я два дня ничего не ела. Вчера ваши солдаты выбросили меня из комнаты, и я ночевала под лестницей у дворника Васьки.

– Он что, мальчишка, этот дворник?

– Старик. А почему вас это интересует?

– Вы сказали, что дворника зовут Васька...

– Я могла сказать что угодно! Я посвятила жизнь тому, чтобы писать стихи, изучать древнюю философию и переводить греческих поэтов. А мне плюют в лицо и говорят, что я недорезанная.

– Кто плюет в лицо?

– Ну, это метафора. Поймите, мир теряет разум, накопленный веками. Я смотрю в людские глаза и вижу там отблески далеких пожарищ и сумасшедшую радость затаенного призвания двуногих – разрушения! Что вы делаете с планетой, комиссар?

– Мы проводим с ней эксперимент, – улыбнулся Постышев, – направленный на то, чтобы каждый Васька стал Василием. Адъютант сказал мне, что вы гадаете?

– Дальняя дорога, трефовая десятка и богатый червовый король в казенном доме. Что делать? Когда приходит беда, люди ищут веры в чем угодно, только не в правде. За ложь платят хлебом. Мне запретили лгать им, и я голодаю, а лгала я добро, поддерживала в людях веру, как могла...

– Значит, сами вы не верите гаданьям?

– Карточным – с большой осторожностью. А кабалистике – великой магии цифр – да. Вспомните иудейский «Зехер». Там говорится: «Горе человеку, который не видит в Торе ничего, кроме простых рассказов и обыкновенных слов. Рассказы, записанные в Торе, лишь внешняя одежда закона. Горе тому, кто одежду посчитает за закон». Вспомните Апокалипсис! «Кто имеет ум – сочти число зверя! Ибо это число человеческое. Число его шестьсот шестьдесят шесть». Но ведь это скрытое имя чудовища, имя которому Нерон! Комиссар, я вижу в вас Нерона!

Постышев вызвал адъютанта.

– Пожалуйста, – сказал он, – поищите

комиссара с «Жореса». Пусть зайдет.

– Вы хотите меня отдать ему? – ужаснулась Канкова.

– Хочу. У него морячки учиться жаждут. Комнату вам вернем и дадим военный паек.

– Кому сейчас нужна учеба?

– Всем.

– В ваших глазах светится доброта – откуда она в вас? Ведь вы поклоняетесь безверию. Вы пришли к единомыслию вместо анализа.

– Мы с вами сейчас не договоримся. Вы пока поработайте с нашими людьми, а там побеседуем.

Шумный комиссар с «Жореса» ворвался в кабинет запыхавшись – видно, бежал по коридору. Канкова отодвинулась к Постышеву.

– Эта гражданка, – пряча улыбку, сказал Постышев, – будет учительствовать у тебя в бронепоезде. Поставь ее на довольствие и покорми щами.

Комиссар бронепоезда разглядывал Канкову с изумленным недоумением.

– Павел Петрович, – жалостливо спросил он, – а дамочка хоть нормальная? Дикость в ней какая-то.

– Вполне нормальная. Ты ей условия создай. Она будет народармейцам книги читать и грамоте учить.

Капкова, осмелев, рассматривала комиссара «Жореса» в лорнет.

– Бинокль свой убрали б, а то я себя под прицельным огнем ощущаю, – сказал комиссар.

Канкова спрятала лорнет и молча вышла в приемную. Комиссар спросил Постышева: – Павел Петрович, на кой хрен мне этот божий одуванчик?

– Пригодится. Только обижать ее не вздумай. И поделикатней со старухой, поделикатнее – ее дед был другом Пушкина...

Проводив комиссара и Канкову, Постышев сказал адъютанту:

– Пожалуйста, подготовьте приказ: с завтрашнего дня снять один паек у газеты «Вперед» и передать в милицию для многодетных товарищей – Приймака и Чохова. Из нашего представительского фонда перешлите

Лысову в исполком фунт сала и три кило пшеничной муки – у него жена помирает в чахотке. И чтобы к завтрашнему утру все было оформлено.

В РАСПОЛОЖЕНИИ АМУРСКОЙ ФЛОТИЛИИ

В город пришли сумерки. Вода в Амуре стала темно-коричневой. В небе, пока еще светлом и необыкновенно высоком, загорелись первые звезды. Они словно калятся изнутри; поначалу синие, потом белые и лишь потом с каждой минутой становятся все больше и больше голубыми, переливными – ночными. Где-то высоко на обрыве тонкие девичьи голоса вели протяжную песню. Когда песня смолкла, стало слышно, как быстрые пальцы гармониста осторожно трогают ломкую тишину вечера. Постышев шел по берегу. Коричневые волны, будто щенки, лизали его длинноносые сапоги.

Постышев ступал по самой кромочке прибоя, видно загадал: соскользнет сапог в Амур или нет. Дошел до пристани – нога ни разу не соскользнула. Улыбнулся озоровато и начал подниматься по тропке к трем домишкам на косогоре – там расположился штаб флотилии.

– Товарищ Постышев, – негромко окликнули

его.

Павел Петрович обернулся. На пристани прохаживался молоденький паренек с маузером. Он подбежал к Постышеву и тихо сказал: – Товарищ Постышев, я из группы Филиповского.

– И что?

– Донеслася до нас весть, что судить будут нашего Филиповского.

– Будут.

– За что ж невинного красного командира обижать? Мы за него горой.

– А ты что здесь делаешь?

– Бандиты шуруют. А мы дежурим. Филиповский с хромым за горой, я – тут, а Витька – в секрете. Обиду мы все за Филиповского чувствуем. Вы б сказали, чтоб по справедливости рассудили...

– Сколько тебе лет?

– Семнадцать.

– Ну, валяй, дежурь. Одному не страшно?

– А дура зачем? – улыбнулся парень, похлопав

себя по боку, там, где висел громадный маузер в деревянном футляре. – Она у меня промеж глаз свистит, что вы...

– Слышь, чекист, – улыбнулся Постышев, – а ты в школу ходишь?

– Это после победы в мировом масштабе. А пока нам Филиповский сказки Пушкина читает. Ничего книжки, только больно много нереальной волшебности, веры не вызывают.

После того как поздним вечером совещание в штабе Амурской флотилии окончилось, Постышев в сопровождении моряков направился к машине. Попрощавшись с моряками, Постышев сел на переднее сиденье рядом с Ухаловым.

– Едем в штаб, Андрей Яковлевич, – сказал он.
– Спать будем, устал...

– Сколько времени, Павел Петрович?

– Без пяти десять.

– А уж ни зги не видать. Весна темноту любит.

Проехали с километр и стали – спустил задний левый баллон. Ухалов чертыхнулся и полез на крыло за запаской. В зыбкой тишине кричали ночные птицы и глухо ворчал Амур.

С дороги выстрелил длинный луч фонаря. Разрезав ночь, он скользнул по лицам и погас, но еще мгновение после этого в темноте висела черная, весома и тугая полоска.

– Кто? – спросил Постышев. – Кто светит?

– Я. Филиповский.

– Меняйте колесо, – попросил Постышев шофера, – я с товарищем побеседую.

– Да, – протяжно вздохнул Филиповский. – Хожу теперь по земле, как туберкулезный.

– Что так?

– Радуюсь я ей и знаю, что недолго радоваться осталось. Когда трибунал-то?

– Скоро.

– В глаза людям глядеть не могу, попросился, чтоб только в ночные дежурства ходить. Ночью сам себе царь. Только вот собаки воют. Как к утру заведутся – тоска и в сердце тяжесть. Чего они воют? То ли ночи им жаль, то ли утра боятся?..

– Хочешь закурить?

– Благодарствую.

Остановились, свернули по закрутке.

– Легкий табак, – сказал Филиповский, – от него кашель будет. Махра, говорят, полезней для организма.

– Это точно, – согласился Постышев.

– И что это художники ночь не рисуют, а все больше фрукты?

– Рисовали и ночь, просто не знаешь ты. Архип Куинджи рисовал. «Тиха украинская ночь» – так и называется у него картина. Чудо, какая прелесть!

– У меня младшенький рисовать любил. Я ему из бумаги солдатиков вырезывал, а он их красил карандашом. Только один карандаш у меня был: чернильный. Ему б набор – вот радость была б ребяточку.

– Ты себя не мучь.

– Всё они в глазах у меня. От этого не сбежишь. Ночью в кроватках, бывало, спят, чмокают, на мордашках улыбки. Эх, господи...

Филиповский резко остановился. Схватил Постышева за руку. В зыбкой весенней темноте были видны возле развилки двое спешившихся

всадников.

– Кто такие? – закричал Филиповский.

– Свои. Чего орешь? Светильник выключи!

Один отошел в сторону, исчез в темноте. И сразу же оттуда высверкнули подряд два выстрела. Филиповский сдавленно охнул и бросил Постышева на землю. Вскинул маузер и несколько раз грохнул в конское ржание. Прогрохотали копыта о камни. Филиповский побежал на крик, следом за ним – Постышев.

– Фары включи! – крикнул Постышев шоферу.

– Слышь, Ухалыч, включи фары!

Ухалов дал свет. В желтом свете фар виден стал человек, придавленный конем, а рядом – Филиповский, хрипит, руки ему вертит.

Воткнули бандюгу в машину, Филиповский повалился рядом с Постышевым, побелел, морщится, рукой трогает грудь, торопит Ухалова: – Скорей, черт! Второй уйдет!

Машину несет по ухабам, руль вырывается из рук белого от волнения шофера.

– Скорей! – хрипит Филиповский.

Гр-рох!! Передними колесами – в яму. Занесло машину. Остановились.

– Приехали, мать твою так... – сказал Постышев. – Вылезай, Филиповский.

А Филиповский сидел молча. Тронул его Павел Петрович за плечо, и рука стала мокрой – в теплом и липком.

– Филиповский, ты что?

И понял Постышев, что молчит Филиповский потому, что мертв, сражен белой нулей.

...Под утро кончился допрос захваченного офицера каппелевской армии Урусова. Среди прочих любопытных признаний Урусов сказал, что еще днем из Хабаровска ушла Гиацинтову шифровка о красном разведчике Дзержинского, который отправлен во Владивосток. Кто про него узнал – не говорит, божится, что не знает, а известно лишь то, что передали это сообщение шифровкой из японской миссии...

Постышев немедленно связался с нашим пограничным пунктом, велел задержать товарища, который уходит за кордон, во Владивосток, а ему ответили, что проводников уже нет, повели товарища по таежным тропам к Владивостоку, поздно теперь, не остановишь...

Сюда, на фанзу Чжу Ши, проводники привели Владимирова и передали его охотнику Тимохе.

Тот обычно выводил людей из своей заимки к пригородной станции Океанской.

Оттуда во Владивосток ходит паровичок, да потом и извозчика можно взять. В фанзе проводники задерживаться не стали, а сразу же повернули назад: жить в двенадцати километрах от поста белых казаков – занятие дрянное для красного партизана. А Тимоха – он охотник, его уж такое дело – по тайге бродить, зверя смотреть.

Оглядев ленивым своим, но цепким глазом Владимирова, Тимоха спросил его: – Самогоночки примешь, Максим Максимович?

– Приму.

– У меня в ей женьшень настоян. От моей самогонки медведем ходишь. Сам-то не в мандраже?

– Откуда такое слово чудное?

– А в мирное время ко мне городские рыбаки приезжали, я от них на свой баланс приходовал.

Бывало, профессором говорил, баба моя даже пугалась. Я ей как ученое заверну, так она лоб у меня начинала щупать – не загорячился ли я. А теперь седьмой год живу без всякого мысленного обмена, полным Рафинзоном.

– Робинзоном.

– Именно.

– А кто бывал у тебя из владивостокских?

– Многие, – сразу оживился Тимоха. – Вот, к примеру, Николай Дионисьевич бывал, младшенький Меркулов. Он теперь иностранными делами заворачивает. Кто там и как про него считают, это дело современное, а я скажу правду: хороший он человек и веселый. Ну и уж обязательно Кирилл Николаич Гиацинтов, жандарм. Охотник – куда там, зверь до охоты. Я изюбря каждый год обкладываю – для его самого с друзьями... Потом профессор был с ним – Гаврилин Роман Егорыч. И дочка его приезжала – чистый ангелочек, Сашенька. Сейчас небось девица, если баланс подбить.

Владимиров, чуть улыбнувшись, спросил:

– А про баланс кто говорил?

– Святой человек. Должность у него по-русски

неприлично называется. Коротко так, вроде задницы. С лошадьми он занимался.

– Жокей?

– Именно. Мой младшенький братишка, Федька, «жопей» его называл. Прибылов Аполлинарий. Денег имел – тьму. Только он порченный, хлебное вино пьет – ужас. А напьется, бывало, и ну пятирублевки золотенькие вокруг себя расшвыривать. Федька потом лазит, лазит – все ладони об траву стерет. Аполлинарий-то помогал кой-кому деньгами. Он с сердцем человек, только по-хорошему его надо просить. Мне двух коров купил... А теперь наши погорельцы хотели к нему пойти – не пустили их японские патрули в город. Увидишь его – попроси от мужиков, пусть подможет, что ему стоит?

Первый стакан выпили молча. Долго сопели, мотали головами, жмурились и занюхивали самогон разварным картофелем. В тайге, которая кажется пустой и гулкой, как ночной театр, ухали птицы. Далеко-далеко на востоке, возле Лаубихары, гудели водопады. Звезды, поначалу слабо тлевшие, теперь ярки и злы. Одна звезда – по всему, Орион – калилась изнутри то красным, то синим светом. И казалось Владимиру, что кто-то далекий хочет сказать землянам нечто очень важное, но – не может.

Языки костра то ластились к земле, то взмывали вверх ломкими фигурками скифских танцовщиц. На той стороне ручья, в болоте, кричала выпь. Крик ее был извечен и жуток.

– Как прошла? – спросил Тимоха.

– Жжет.

– Греет. Все органы души прогреет и обновит. Еще, что ль, ломанем?

– Давай.

Тимоха ухмыльнулся в пегую бороду:

– А из ваших никто не пьет.

– Наши – это кто?

– Красные.

– А ты какой?

– Розовый.

– Это как понять?

– А это понять так, что хотя Федька мой за красных погиб, но ведь белый – он тоже русский. Скуластый, глаз точкой – все как у меня. Землю одну любим, под одним небом живем. У меня до

стрельбы жажды нет, я охотник, мне и в миру есть кого в тайге на мясо завалить. Мне в драке нынешней не пальба важна и не сабля с золотом. Мне в ей правда важна. А когда я про это красным командирам, которых из окружения выводил, сказал – они мне заявили, что я, понимаешь, зыбкий элемент и возможная гидра.

– Дураки.

– Это другая сторона. А народ их слушает и надо мной смеется. А я ведь, когда головой рискую, вам помогая, денег не беру. Я одного прошу: ты мне правду до сути растолкуй. Мужик, он правды жаждет, как земля – воды.

– Федьку твоего красные по мобилизации забрали?

– Сам побег.

– Партийный?

– В армии вроде бы записался в ячейку.

– Ты с ним толковал?

– Брат он мне, как же не толковать.

– Ну а про истинную правду?

– Так ведь малой он. Какая у него может быть

истинная правда, когда ее старики не постигли?

– Выходит, молодому правды не постичь?

– Трудней.

– Ты в бога веришь, Тимох?

– Это мой вопрос, ты его не касайся.

– Да нет, я не касаюсь, я просто к тому, что Христу было тридцать три года, когда его распяли.

Тимоха медленно поднял голову, уперся взглядом в надбровье Владимирова.

– Нравится мне, – сказал он, – что ты за горло не берешь, хотя увлекательности в твоём слове мало. За таким говоруном, как ты, не многие пойдут. Надо, чтоб жилы на шее раздувались, когда говоришь, надо, чтоб про будущее такое разрисовал: один кисель да птичье молоко – тогда за тобой мужик поперет. В России на красивом слове кого угодно проведешь.

– Я не жулик. Да и потом народ долго байками не прокормишь. Не выйдет. Он посмотрит, посмотрит да и рассердится.

– Что ты! – усмехнулся Тимоха. – Русского

сердиться царь отучил. Он все больше обижается, русский-то. Другу пошепчет, жену отлупит, самогонки поддаст – вот и вся недолга.

– Занятно говоришь.

– Обычно говорю. Сам из каких?

– Отец ученый был.

– А молчалив ты. Многие ваши, те, что не от земли, говорливы больно. А ты слушаешь. Хорошо это.

– У древних китайцев книга такая была. Лао Цзы. Книга главного учения. А главное учение – это наука о пустоте. Смысл прост: в каждом человеке должна быть пустота, чтобы принять мнение других, даже если это мнение противно твоему. Все равно это обогатит тебя, сделает более широким в суждении и более подготовленным в борьбе за свое, во что ты веришь.

– Выходит, если белые эту самую китайскую трехмудию, усвоят, значит, мир настанет?

– Черт его знает, – весело удивился Владимиров, – как-то я не думал об этом. Во многом люди разобрались, а вот в том, кто начинает войны и кто заключает миры, до сих

пор не могут порядка навести.

– А как его навестить?

– Дать людям свободу.

Костер погас. С ручья поднялся туман. Он висел зыбким, но плотным облаком, растекался, делаясь из серого белым. Выпь теперь ухала совсем рядом. Осока по берегам ручья серебрилась каплями росы.

Владимиров лег на теплую землю, закинул руки за голову, мурлыкал что-то тихое и протяжное.

– Тимох, звезды считать умеешь? – спросил он внезапно.

– Много их, до хрена по небесам рассеяно.

– Если вернусь – научу звезды считать. Может статья, я к тебе скоро вернусь – и не один, а с твоими бывшими знакомыми.

– Примем, угостим, а как иначе... Ну а звезд на небе сколько?

– Я насчитал двести восемьдесят пять. А мне надо семьсот семьдесят семь – обязательно.

– Зачем?!

– Индусы говорят: три семерки – самое счастливое число. Вот и стараюсь.

КАМЕРА ВЛАДИВОСТОКСКОЙ ТЮРЬМЫ

Васильев очнулся после допроса только на второй день. Сначала он лежал не двигаясь, тело свое казалось ему легким и крохотным. В голове звенело, и он подумал, что все случившееся с ним было во сне. Но когда он попробовал подняться с пола, боль свела спину, он замычал и на минуту потерял сознание. А снова открыв глаза, увидел над собой, словно через пелену, расплывчатые лица товарищей из подпольного губкома.

– Какое сегодня число? – спросил он, с трудом разлепив толстые разбитые губы.

– Восьмое, – ответили ему.

Васильев весь затрясся, будто агония пришла, и стал повторять: – Не может быть, не может быть, не может быть...

Он вспомнил, как Суходольский вперемежку с вопросами о подполье и типографии несколько раз спрашивал о московском госте. А он, Васильев, должен был московского гостя встретить на вокзале восьмого, в девять утра, то есть сегодня.

– А сколько времени? – прохрипел он.

– Половина одиннадцатого.

– Ночи?

– Ночи.

– Сегодня никого новых в тюрьму не привозили?

– Никого.

– Точно знаете, товарищи? – приподнявшись на локтях, спросил Васильев.

– Совершенно точно, последний арест был вчера, девочек из типографии забрали.

Васильев рухнул на пол, и какое-то подобие улыбки прошло по его лицу. В горле у него забулькало, и он, повернувшись на бок, зашелся предсмертным кашлем.

«Слава богу, – подумал он, отдышавшись, – они москвича не встретили, значит, я молчал, когда в беспамятстве был, значит, все хорошо...»

– Воды, – попросил Васильев хрипло, – вроде бы кончаюсь я, товарищи, сердце у меня холодеет. Вы только держитесь, вы держитесь, тогда все будет как надо, иначе каюк...

Он говорил быстро, а левой рукой все над собой шарил и пальцами шевелил – окровавленными, с синими подушечками вместо ногтей.

РЕСТОРАН «ВЕРСАЛЬ»

В зале было шумно. За столом сидели люди друг друга знающие, поэтому царила здесь обстановка непринужденной веселости, дружества и приятельской открытости. На сцене певец, загримированный под Вертинского, пел слишком громко и очень уж картинно ломал длинные свои пальцы – хруст во время музыкальных пауз был слышен в зале: закрой глаза – будто сапогами по сухому валежнику.

Возле сцены – столик для особо почетных гостей. Здесь Николай Иванович Ванюшин, профессор Гаврилин с дочкой Сашенькой и главный режиссер театра «Ко всем чертям» Ефим Михайлович Долин.

Певец на сцене обхватил голову руками, простонал:

*Птичка божия не знает
Огорчений никогда.
Антихрист собакой лает
Без особого труда...
Долгу ночь в подполье дремлет.
Солнце красное взойдет,
Антихрист, геенне внемля,
Встрепенется – и орет!
За весной, красой природы,*

*Лето красное бежит,
Пляшут красные уроды,
А в дуду играет жид!*

Ефим Михайлович Долин, засмутившись, покашлял и, чтобы разрядить неловкость, первым заплодировал.

– Все же, господа, – чересчур игриво сказал он, – я, иудей, признаю справедливость в дележе нашего племени на евреев и жидов. Всякие Троцкие и Керенские – чем не жидоморды?! А кто посмеет сказать о господине Абрамовиче что-либо, кроме как: еврей?

– Я, – хмыкнул Ванюшин. – Дерьмо ваш Абрамович! Сам кашу заваривал, а теперь всем за границей в жилетку плачется. Дрек! И ты, Фима, сволочь. Пусть бы при мне кто посмел про россиянина хоть словечко обидное сказать! Я б немедля глотку перегрыз. А ты изгиляешься перед нами, своих соплеменников продаешь хуже любого черносотенца. Так себя потаскухи ведут, Фима, дешевки притом.

– Когда вы начнете браниться по Далю, – сказал профессор Гаврилин, – заранее предупредите, я уведу дочь.

– Сашуля, – рассмеялся Ванюшин, – ваш папа – ханжа. Вы у нас единственная одаренная

поэтесса, вам не надо бояться гримас жизни, вам их надо видеть. Вот, например, на всех заборах каждую ночь теперь появляются такие призывы, начертанные рукою юных мужей, что мне, знатоку российского, мудрого и целесообразного мата, и тому завидно. А папа, верно, велит вам проходить мимо этих образчиков народной мысли с закрытыми глазами. Родители, родители... Прохиндеи и лжецы.

– Коля, вы зачем этак-то?

– Любил барин нотации читать.

– Я нотации читаю лакеям, – жестко возразил Гаврилин, – когда мне подают пережаренное мясо.

Ванюшин придвинулся к Гаврилину и жарко выдохнул – не поймешь: то ли пьян, то ли издевается:

– А вот я мяса никому не подаю, но – все равно лакей! Имеющий рубль не станет пить пустой чай, у кого десятка – потребует шашлыка на ребрышке, а кто владеет тысячами – тому подавай печатное слово! А как же? Тысяча – вот визитная карточка цивилизованного человека. А ему без триппера и скандальной хроники – жизнь не в жизнь! Скандальную хронику – а ее сущность составляет политический репортаж,

публицистическая гневность и сводка с фронта, – это все ему, цивилизанту, подаю я – лакей и прихвостень! Мне платят не за талантливость, а за количество строк и запах жареного! И тебе, профессор, тоже. А Долину – подавно. Он такие вонючие пьесы ставит – просто тошно. Зато меценатам нравится. А что есть меценат? Оно есть некультурная сволочина, которая позволяет себе судить обо всем и советы давать всем, потому как может платить.

Сашенька слушала Ванюшина жадно, нахмутив пушистые стрельчатые брови. Долин катал хлебные шарики на скатерти, а Гаврилин скептически улыбался и цыкал зубом – будто что попало в душло.

– Мой репертуар не так уж плох, напрасно ты так резко, – возразил Долин, – народу нравится, во всяком случае.

– Замолчи! У тебя нет репертуара, у тебя набор дурно пахнущих анекдотов.

– Знаете, почему вы не правы? – задумчиво спросил Гаврилин. – Вы, Коля, не правы оттого, что плохо знакомы с историей русской государственности.

– А ее-то и нет. Есть сплетни, далекие от историзма, и пошлые байки про то, как

Екатерина с Потемкиным в постели развлекалась! А истории государственности нет!

– Ты сердишься, Юпитер, значит, ты не прав.

– Я не сержусь. Я утверждаю. Убедите в обратном – с огромной радостью признаю себя побежденным.

– Я постараюсь убедить вас в письменном виде.

– Как?

– А вот так. Напишу в ваш лакействующий орган.

– Когда, профессор? Лет через пять? Нас тогда вышибут отсюда в объятия к китайским мудрецам! Русская интеллигенция похожа на существо с огромной головой, но без рук. И с великолепным языком: болтать можем прелестно, писать – в год по чайной ложке, надиктовывая, а делать – нет, это мы не можем, пусть мужик делает, мы будем скорбно комментировать и намечать перспективы.

– Вам бы застрелиться, – посоветовал Гаврилин.

– Ха-ха! Я жить хочу! Мне приятно жрать

кислород – единственное, что человеку отпускают бесплатно!

– Не надо ссориться, господа, – сказал Долин, – в конце концов мы все единомышленники.

– Не надо! – согласился Ванюшин и легко плеснул в свой бокал льдистой, с хлебной желтизной, смирновки. – Ни к чему! Сашенька, лапа, почитайте свои стихи – они сильны и чисты, я прошу вас, девочка!

В зал вошли три пьяных офицера. Один из них, низенький, раскосоглазый, поразительно напоминающий атамана Калмыкова, визгливо закричал:

– Ма-а-альчать!!!

В привычном к таким выходкам зале – чему за годы революции не выучили российскую интеллигенцию?! – все смолкло.

Один из троих вошедших выхватил из-за спины горн и серебряно заиграл позывные кавалерийского марша.

– А-аркестр! – приказал низкорослый. – Валяй «Боже, царя храни»!

Первая скрипка, треща фрачными фалдами,

гарцуя, пронеслась между столиками – к офицеру.

– Господа, у нас не тот состав, чтобы играть эту мелодию! Может получится весьма фривольно.

– Дали вам, собакам, фриволю, – сказал офицер. – А ну играй, сука горбоносяя!

– Но...

Офицер вырвал у музыканта скрипку и поднял ее над головой. Тишина в зале сделалась напряженной и гулкой. Ванюшин грузно поднялся, оттолкнул стул и пошел на офицера. Остановился перед ним – огромного роста, бешеный: усы топорщатся, лоб в испарине.

– Вон отсюда, – негромко сказал он офицеру.

Тот начал скрести кобуру негнушимися, в золотистых волосках, пальцами. Из-за столика, поставленного близко к двери, поднялся франтоватый молодой человек, быстро подошел к офицеру, который уже ухватил пистолет за рукоять, и чуть тронул его за плечо. Офицер обернулся, и молодой человек с размаху ударил его в подбородок. Офицер, грохнувшись, проехал на заднице по вощеному паркету – к дверям.

Заверещали пронзительными голосами дамы; биржевые спекулянты и интеллигенты молчаливо замахали руками в трескучих манжетах, выражая при этом крайнюю степень озабоченности.

Офицер, лежа на полу, достал пистолет и начал целиться в молодого человека, пытаясь унять дрожь в руке, но тот в прыжке выбил у него оружие и неторопливо повернулся, чтобы вернуться на свое место. Ванюшин бросился к нему, обнял, расцеловал неловко, по-медвежьи – в шею.

– Исаев! – закричал он. – Боже мой, Максим Максимович! Откуда здесь? Какая радость, а?! Исаев! Максим!

Ванюшин вел Исаева через зал, к своему столику, и все аплодировали ему, прочувствованно повторяя:

– Прекрасно! Чудно! Какая смелость!

*

А в это время с потушенными огнями на владивостокский рейд входит полувоенный корабль. На носу, крепко вбив свое тело в палубу,

стоит атаман Григорий Михайлович Семенов. Он щурит острые глаза, кусает ус, жуёт губами. Сейчас решается его судьба: быть ему верховным главнокомандующим всеми войсками России или Меркуловы окончательно одержат верх.

Для всех его прибытие сюда – сюрприз, да еще какой! Всполошатся купчики, япошки изумятся – он из Токио тайком сюда, американцы ахнут; одни китаёзы рады, ждут, помощь обещали – только б японца с американом поприжать и самим царствовать. А хрен с ними! Играть – так ва-банк, иначе не стоит мараться.

*

...А за ванюшинским столом тем временем дым стоял коромыслом. Обняв Исаева левой рукой, Ванюшин размахивал над головой правой и кричал:

– Мы Пушкина не знаем, профессор! Мы – темень!

– Но почему же! – возражал пьяный Долин. – Прекрасные строки, мы воспитывались на них.

«У лукоморья дуб зеленый»? Это? Да? Ты – молчи! Ты, Фима, вертихвост, твой удел сейчас – шепот!

– При чем здесь Пушкин и крах российской государственности? – задумчиво спросил Гаврилин.

– При чем? А при том! Пушкин писал, что нет ничего страшнее русского бунта – бессмысленного и жестокого. Только тот может к нему звать, кому чужая шейка – копейка, а своя головушка-полушка! А мы что делали? Успенского с прислугой вслух читали, государя бранили при любом удобном случае – ради красного словца, забыв, что он прямой наследник Петра! Если что до конца Россию и погубит, так это разговорчики сытых интеллигентов! Пушкина читать надо, Пушкина!

– Николай Иванович, – сказал Исаев, – вы помните, что Пушкин писал о наследниках Петра? Нет? Он писал, что ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во всем, что не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности и добро производилось не нарочно, между тем как азиатское невежество царило при дворе!

За столом воцарилась тишина.

– Когда мы работали у Колчака, – сказал

Ванюшин, – вы этого Пушкина не цитировали.

– Так ведь то ж при Колчаке, – легко улыбнулся Исаев. – Нет?

– На кого вы сейчас работаете?

– Я только что прибыл из Лондона, Николай Иванович.

– Я не спрашиваю, откуда вы прибыли, я спрашиваю, кому вы запродались?

– Я, право, затрудняюсь...

– В таком случае вы обозреватель моей газеты с сегодняшнего дня.

– Оп-ля! – сказал Гаврилин устало. – Вот так делаются дела. Ванюшин не просто король прессы, он у нас бизнесмен высшей марки! Вас ждет, Исаев, слава, а Николая Ивановича – новые подписчики. И перемежайте ваши статьи о наследниках Петра Великого сообщениями о скачках – это в духе времени.

– Сейчас он скажет, что я спекулянт, – захохотал Ванюшин, – они меня здесь все считают спекулянтом, потому что я исповедую веселость в отличие от их многострадально-показной усталости.

– Николай Иванович, – попросила Сашенька Гаврилина, молчавшая до сих пор, – а вы обещали меня свозить в чумные бараки.

– Не говори глупостей, Саша, – раздраженно заметил отец. – Твои эксперименты, наконец, делаются вздорными.

– Я слышала, чумные, когда бредят, – продолжала Сашенька, – говорят всю правду, беспощадно честно про себя все говорят. Если только успевают. А вы? Вы все? Вокруг правды ходите, а к ней никогда не придете.

– Почему? – спросил Ванюшин.

– Потому что вы себя любите, а правда у вас – словно компот – на десерт. Потому что у вас только разговоры о правде, а она разговоров не любит, она предпочитает либо молчание, либо действие.

Долин забормотал несуразное, Ванюшин молча поцеловал ей руку, а Исаев, отстранившись, посмотрел на девушку, чуть прищурившись, и не поймешь сразу – то ли усмехается, то ли изумлен.

Сашенька заметила, как он смотрел на нее. Она привычна к тому, что на нее все смотрят с обожанием, а этот странный, по-английски

суховатый человек, похоже, все-таки усмехается.

– Вы не согласны? – спросила она.

– Я как раз собирался пойти к чумным. Так что я обожду отвечать вам, – ответил Исаев.

– О-о! – вдруг протяжно возгласил Ванюшин.
– Кирилл, Кирилл! К нам! К нам, мой родной!

Все обернулись: в дверях стоял Гиацинтов.

Полковник пошел навстречу Николаю Ивановичу, они трижды истово расцеловались, потискались друг друга в объятиях – мода сейчас такая пошла, чтоб не только расчеломкаться, но и обязательно, будто испанцы какие, друг дружку по спинам полапить. Гиацинтов выглядел усталым, но в глазах его бегали веселые огоньки. Он пожал руку Сашеньке, сухо поздоровался с Гаврилиным и фамильярно-дружески потрепал по затылку Долина.

– Знакомься с моим другом, Кирилл, – сказал Ванюшин. – Мы вместе служили в Омске, в пресс-бюро у адмирала.

– Максим Максимыч Исаев.

– Гиацинтов.

По залу пронесся быстрый, как ветер, шепоток. От двери, прямо к столу, ни на кого не глядя, шел Николай Дионисьевич Меркулов, министр иностранных дел. Подвижной, с умным казацким лицом, широкоскулый, он улыбочиво поздоровался со всеми, выпил немного вина и, не говоря ни слова, начал ковырять вилкой паштет из рыбьей печени.

– Профессор, – вскользь заметил он Гаврилину, – из Вашингтона вам пришла виза, так что, по-видимому, самое большое через неделю вам следует ехать.

– Когда профессор становится главой дипломатической миссии, – заметил Ванюшин, – ждите крупных неприятностей, а пуще – убытков, отнесенных за счет гордости и бескомпромиссности.

Меркулов нагнулся к Ванюшину и негромко, одними губами, прошептал:

– Только что в порт прибыл атаман Семенов. И уже по всему городу расклеены его приказы с подписью: «Верховный Главнокомандующий всеми Вооруженными силами востока России». Этот идиот не понимает новой ситуации. А в порту уже началась стрельба. Пьяные семеновцы палят.

– Где Спиридон Дионисьевич? – медленно трезвея, спросил Ванюшин.

– Брат молится. Заперся в своем кабинете и ничего слышать не хочет. Поехали туда? Примете ванну, а я заварю кофе и станем думать.

Ванюшин поднялся, в глазах у него потемнело. (Он думает, что это от сердца. Но нет – люстры медленно гаснут, а в огромные окна вползает серый рассвет. Амурский залив сейчас кажется густо-зеленым, как весеннее поле ночью.)

– В чем дело? – ни к кому не обращаясь, спросил Гиацинтов.

К нему подтрусил метрдотель и шепнул на ухо:

– Стачка.

Гиацинтов медленно поднялся и, поклонившись всем, ушел из зала.

Следом за ним – Меркулов и Ванюшин.

Гаврилин глядел на их спины и говорил устало:

– Политика лакеев отличается растерянным

либерализмом и часто сменяется ненужной жестокостью; при этом – глупо непоследовательна и наивно хитра. Спокойной ночи, Исаев. Заходите к нам, я буду рад вас видеть. Долин, спокойной ночи. Едем. Сашенька, спать пора.

Когда Гаврилин с дочкой уехали, Долин предложил:

– Поехали к проституткам, Максим Максимыч?

– Я, пожалуй, попью кофе.

– Тогда прощайте, еду на растерзание.

– В добрый час...

Исаев остался за столом один и долго смотрел на рассветающий залив – спокойный и безбрежный.

«ВЕРСАЛЬ»

НОМЕР ВАНЮШИНА

УТРО

– Вы знаете, в чем заключается трагедия добрых людей? – спросил Николай Иванович

Исаева.

– По-видимому, в том, что у них напрочь отсутствует злость.

– Отчасти. А главное – добрых людей весьма мало на земле, вот в чем дело. Добрые люди пожирают самих себя, переживая содеянное ими. И наконец, они все меряют своей доброй меркой. А это самое страшное. Желание мерить все на свою мерку, в конце концов, либо сделает доброго человека безвольной тряпкой в глазах окружающих, особенно самых близких, либо превратит в злодея – с отчаяния.

– Надеюсь, – спросил Исаев, – эта тирада ко мне не имеет никакого отношения?

– Господь с вами. Кстати, не позволяйте никому называть вас Максом. Особенно женщинам, которых любите.

– Я позволяю любить себя – только лишь. Сам же стараюсь не любить – это утомительно.

– А как это у вас выходит? Дайте рецепт.

– Просто-напросто я отношусь к числу не очень добрых людей. Возможно, вы слышали об опытах Карла Кречмера?

– Нет.

– Занятные опыты. Кречмер делит человечество на три категории: на пикников, атлетов и астеников. Пикники – полные, быстрые в движениях, с короткой шеей, сильно развитой грудной клеткой, склонные к тучности и одышке, кареглазые и крутолобые люди. Не смейтесь: Кречмер провел более тридцати тысяч наблюдений в своей клинике. Я сейчас буду перечислять характерные черточки пикников – и это все будет про вас.

– Валяйте.

– Пикники социабельны, все выдающиеся политические деятели мира, начиная с времен Эллады, были пикники, для людей этого типа одиночество страшнее всего, они созданы для общества, для активной работы, самые распространенные заболевания у них сердечные, они мнительны и легко ранимы, их замыслы широки и неконкретны, они исповедуют синтез, а не анализ, их память отнюдь не универсальна, а сохраняет лишь самое броское и яркое, отсюда, кстати, обывательская уверенность, что пикники поверхностны в знаниях; они воспринимают книгу, спектакль, науку в целом, сразу, или принимая ее, или отвергая напрочь; полная бескомпромиссность у пикника сменяется таким компромиссом, который и атлету и астенику

будет казаться предательством. И наконец, в любви бесконечные увлечения, причем и любовь и увлечения – отнюдь не самоцель, а некий вспомогательно-стимулирующий инструмент для непрерывного обновления основной его, пикника, деятельности.

– Да у вас просто готовый номер для концерта. Ваши сведения ошеломят всех пикников в зале. Занятно. Ну а что такое атлетики?

– Внешне эталон атлетика – греческая скульптура. Спокойствие, рационализм, точность. Астеник – худой, с покатыми плечами, абсолютно невосприимчив к жировым накоплениям, склонен к легочным заболеваниям, аналитичен, пессимист.

– Вы думаете, эта классификация серьезна?

– Пока рано делать заключения. Но опыты, по-моему, интересны.

– И у пикников в семье обязательно бордель, да?

– Не всегда, но в большей части.

– Точно! А кто виноват? – усмехнулся Ванюшин. – Футуристы, акмеисты, имажинисты

и вся прочая сволочь...

– Зачем же вы о них так грубо?

– А я их ненавижу. Все эти «измы» – способ, фокусничая, быть сытым и устроенным в те времена, когда цензура свирепствует против реализма. Они строят загадочные рожи и порхают по самой поверхности явлений и при этом играют роль непонятных гениев, которых травит официальщина. Тьфу!

Исаев долго стоял у окна, дожидаясь, пока Ванюшин завяжет галстук и причешется.

– Наверное, нет ничего грустней, – задумчиво сказал он вернувшемуся из ванной Ванюшину, – как смотреть на женщину, которая долго сидит одна в сквере...

– С одной стороны. А с другой – нет ничего грустнее, как смотреть сегодня утром на нашего премьера, которому предстоят переговоры с Семеновым. Едем в редакцию, надо писать в номер комментариев, я введу вас в курс дела.

У СЕМЕНОВА

В салоне, отделанном под мореный дуб, сидели трое: атаман Семенов, претендующий ныне на всю полноту власти, напротив него –

братья Меркуловы, властью в настоящий момент обладающие.

Меркулов-старший, помешивая ложечкой зеленый чай в тонюсенькой фарфоровой чашке, заканчивал:

– Таким образом, мы рады приветствовать вас здесь, на островке свободной и демократической русской земли. Сразу же после того как вы сообразовите выставить свою кандидатуру на дополнительный тур выборов в Народное собрание и ежели вы будете выбраны, наше правительство сочтет за счастье предложить вам тот портфель, который наше демократическое собрание сочтет возможным одобрить.

– Где это ты, Спиридон Дионисьевич, выучился таким жидовским оборотам?!

– Только грубить зачем? – вступился Николай Дионисьевич. – Это в казачьем войске проходит, а у нас – не надо, Григорий Михайлович. У нас надо все трезво и всесторонне рассматривать.

Семенов поднялся из-за стола, грузно заходил по каюте. Солнечные зайчики носились наперегонки по черному, мореного дуба, потолку. В большие иллюминаторы видно, как два миноносца под андреевским флагом стоят напротив семеновского теплохода. Орудия, все

до единого расчехленные, точно наведены на него. Семенов это замечает.

– Трезво? – уже спокойнее сказал Семенов. – Хороша трезвость, когда вся Россия поругана красной сволочью, а вы не мычите, не телитесь. Изничтожать надо красную гангрену.

– Каким образом?

– Виселицей и нагайкой.

– Вчерашним днем живешь, Григорий Михайлович.

– И потом, – раздумчиво заметил Меркулов-старший, – для того чтобы выступление было эффективно, нужна толковая подготовка, господин атаман. Погодить надо, пообвыкнуть.

– Чего годить? Годить, покуда вас в океан сошвырнут?! Нет, это не для меня. Либо так, либо никак. Если боитесь – уступите место другим.

– Григорий Михайлович, – рассмеялся Николай Дионисьевич, – ты зачем же множественное число употребляешь, когда одного себя имеешь в виду?

– И-и-и, – покачал головой Семенов, чтобы скрыть усмешку, – нужна мне власть?! Я свое

дело сделаю да и уйду. Мне в борьбе любая должность почетна.

– Красное словцо ты любишь, Григорий Михайлович. Любая... Если любая – я тебе предложу должность полкового командира. Пойдешь?

– Ты зачем же надо мной куражишься? Я сюда не должности делить приехал, а сражаться за попорченную честь государя императора!

– Вот видишь, как разнервничался? Значит, незачем было про любую должность говорить. Ведь уговорились мы: пройдут выборы, и тогда с открытой душой примем тебя в свои ряды. Неужели нельзя месяц-другой обождать? Мы, когда тут готовили наш победоносный переворот, подоле ждали. А ведь мы, Григорий Михайлович, не в Токио сидели, как ты, а под чекистским пистолетом.

– Ты меня этим не упрекай! Пока ты тут золото в двадцатом году наживал в торговле, я под Читой красных сдерживал и своих друзей хоронил! Ишь, Пуришкевичи мне тут отыскались!

– Я попрошу вас вести себя в рамках приличия, – сказал премьер. – Мне стыдно за вас, атаман!

– Ты за себя лучше стыдись! Лампасы им желтые не нравятся, от виселиц их коробит! Меня тоже коробит, и я тоже человек, да только я фронт прошел, а вы зад в тепле держали! А вот вас стукнет – и вы запрыгаете!

Меркуловы гневно вышли из каюты. На палубе их тесным кольцом окружили журналисты, засыпали вопросами, трещат фотокамерами и киноаппаратами. Первым к ним – Исаев. Уже около самого трапа Спиридон Дионисьевич остановился и ответил на все вопросы одной трафаретной фразой:

– Господа, повторяю, переговоры продолжаются в атмосфере сердечности и полного взаимопонимания. Григорий Михайлович Семенов – патриот родины, который тонко и своеобразно понимает сердцевину переживаемого момента. Мы убеждены, что в дальнейшем наши контакты возрастут еще больше.

– Думая о будущем, – добавил Николай Дионисьевич, – мы конечно же трезво учитываем уроки прошлого.

У младшего братца выдержки поменьше: проговорился. Газетчику только краешек покажи, он все вытащит. Шум, новые вопросы, крики. Братья не отвечают. Они быстро спускаются по

трапу, садятся в свой бронированный катер и уплывают на берег.

Исаев бросился в пассажирское отделение и, по-кошачьи мягко ступая, подошел к двери, которая вела в каюту Семенова.

ЯПОНСКАЯ МИССИЯ

Пресс-атташе быстро диктовал
шифровальщику:

– Следующее сообщение под шифром «Юг» передайте сразу в два адреса: МИД и военная разведка генштаба. Итак, вы готовы?

– Я готов.

– Прекрасно. «Владивосток, семь тысяч восемьсот сорок пять, агент семьдесят шесть с подтверждением через агента четыреста восемьдесят семь передает: продолжающиеся второй день переговоры между Семеновым и Меркуловыми явно зашли в тупик. Происходящее на руку розовым, которые сейчас продолжают всеобщую стачку. Под розовыми мы имеем в виду рабочих, близких по убеждениям к большевикам. Красных в городе стало меньше после ареста руководящего звена подполья полковником Гиацинтовым. И хотя розовые не организованы, тем не менее разногласия между

двумя лидерами белой России, между Семеновым и Меркуловым, не могут не быть прекрасным поводом для антиправительственной и антияпонской пропаганды. Единственно правильный выход из создавшейся ситуации есть примирение двух лидеров и создание коалиционного правительства. Мы пока не можем делать ставку ни на одного из двух, с тем чтобы не попасть впросак в будущем: Семенов перспективен как вооруженная сила отчаянной дерзости, а Меркуловы олицетворяют мощь торгово-промышленных институтов. Выводы: приложить максимум усилий, оказать давление как на Меркулова, так и на Семенова, с тем чтобы в ближайшие дни соглашение было достигнуто и монолитность власти подтверждена публично как перед русским, так и перед мировым общественным мнением. Сейчас мы проводим работу по выявлению контактов Семенова с китайскими группами». Вы не устали, Сувама-сан?

– Я не устал, благодарю вас за столь любезное внимание.

– Итак, дальше...

АМЕРИКАНСКАЯ МИССИЯ

Второй секретарь диктовал шифровальщику:

– «И хотя наше отношение к Семенову крайне отрицательное, в настоящий момент мы не видим иного выхода, кроме как поиск возможных путей примирения двух группировок. Эта временная мера должна сейчас, на первых этапах, явиться свидетельством сплоченности тех групп, которые противостоят идеологии большевизма, сохраняя свои политические убеждения различными и свободными от давления извне».

ФРАНЦУЗСКОЕ КОНСУЛЬСТВО

Вице-консул – шифровальщику:

– «И последнее: хотя наши симпатии находятся на стороне атамана Семенова как наиболее последовательного борца с большевизмом, тем не менее, учитывая реальную политическую обстановку на восточной окраине, поддерживать следует Меркуловых, с тем чтобы прибывшая сюда армия Врангеля не вступила в конфликт с армией Семенова. Даже по личным симпатиям и привязанностям Врангель и Меркулов более подходят друг к другу, нежели атаман и генерал. Наиболее же устраивающий нас выход из создавшейся ситуации – это коалиция Меркуловых с атаманом. Это позволит нам – со временем – подчинить Меркуловых влиянию

Врангеля, то есть нашему влиянию».

РЕЗИДЕНЦИЯ МЕРКУЛОВА

Японский генерал Тачибана с переводчиком сидели в кабинете Меркулова уже третий час кряду. Фривейский, два раза входивший к Спиридону Дионисьевичу с только что поступившей прессой и новыми сообщениями телеграфных агентств, намеренно долго раскладывал вырезки, отчеркивая нужные места разноцветными карандашами, внимательно и цепко прислушиваясь к напряженному и тонкопунктирному разговору премьера с генералом.

Выйдя в третий раз из кабинета, после двухминутного разговора с Меркуловым-младшим, он снял трубку телефона и набрал номер Ванюшина:

– Николай Иванович, нужен хороший комментарий. Завтра Семенов и Спиридон Дионисьевич подпишут совместную декларацию. Бой за монолитность нашу выигран!

РЕДАКЦИЯ ВАНЮШИНА

– Оставьте на первой полосе окно, – сказал Ванюшин метранпажу, – сейчас я набросаю комментарий. Заголовок пусть будет набран

крупешником.

– Какой заголовок? – спросил Исаев. – «Вон из Владивостока, атаман?»

Ванюшин хохотнул:

– Это могло быть вчера. А сегодня: «Бой за монолитность нашу выигран».

– Вы действительно верите в это, Николай Иванович?

– Я никогда не был так уверен в нашей победе, как сейчас, никогда, Максим! Раньше нас разъедали дразги: Деникин сам по себе, Колчак сам по себе, англичане темнят, французы против адмирала, американцы выжидают – словом, бордель, и только! А теперь на территории России остался лишь один очаг свободы – мы! Весь цивилизованный мир помогает и сочувствует нам! Мы подперты американскими кораблями и японской пехотой! Наконец, Меркуловы – русские патриоты, которые преследуют не свои честолюбивые интересы, а живут главной задачей освобождения нации от большевистского ига. Они честны и просты, как сам русский мужик, и у них добрые сердца, поверьте мне! А Семенов – ну бог с ним в конце концов! Он вояка, он будет под нами, он не выйдет из нашего подчинения, зато казачество

его боготворит, а это громадная сила! И потом, – даже худой мир с ним лучше доброй ссоры, право слово: у него, кстати, в Берлине надежные люди сидят – полковник Фрейнберг с Апаровичем, – они тоже к нам в подчинение перейдут, а это – серьезные люди, очень серьезные! Так что я полон оптимизма, друг мой, и он зиждется на реальности, а не на грезах. Мы только что спаслись от раскола – вот вам блистательное подтверждение моим словам, не так ли? И потом, – он хмыкнул, – я трезв сейчас.

Ванюшин заперся в своем кабинете, попросив Исаева не уходить надолго. Исаев пообещал быть где-нибудь рядышком, только разве, может, сходит в бар.

Он действительно пошел в кафе-бар «Банзай». Там за столиком, занавешенным бамбуковой перегородкой, сидел молодой человек, похожий на корейца.

– Простите, не могу ли я сесть рядом? – спросил Исаев.

– О, прошу вас, – ответил кореец, – очень приятное соседство.

Исаев заказал подбежавшему лакею немного виски. Чуть заметным движением Исаев передал корейцу два листка рисовой бумаги. Тот оставил

на мраморном столике полторы иены и, кланяясь по-японски, ушел – словно бы и не было его.

РЕДАКЦИЯ «ВЛАДИВО-НЬЮС»

Здесь, в большом зале с огромными стрельчатыми окнами, возле диковинного цветка, растущего в громадной кадке, стоит забавной конструкции письменный столик. На нем старинная, разболтанная пишущая машинка и великолепнейшая рисовая бумага – плотная, но в то же время очень тонкая. Писать на ней одно удовольствие. И получал это удовольствие корреспондент газеты Джозеф Лобб – единственный американец на всю русскую проамериканскую газету. К нему-то и подошел кореец, только что сидевший с Исаевым в баре. Он что-то пошептал на ухо Лоббу. Тот достал из кармана пятьдесят долларов, кореец покачал головой, тогда Лобб добавил еще десять и после этого получил два листочка бумаги, на которой «подлинный черновик заявления» атамана Семенова, «украденный вчера стюардом с японского теплохода». Заявление скандально. Начинается оно по-семеновски. «Я, Верховный Главнокомандующий и Правитель Восточной окраины России, генерал-лейтенант, атаман войска казачьего Семенов, обращаюсь к тебе, народ русский. С болью в сердце вижу я, что хотя большевистский гнет и сброшен с божьей

помощью, но истинно народный дух – дух мщения за поруганных и убиенных красной сволочью – не восторжествовал здесь! Мягкотелый правитель не в состоянии вести великий народ на подвиг – и к славе! А посему: с сегодняшнего дня я считаю так называемое правительство Меркулова низложенным, Народное собрание – распущенным впредь до новых выборов, с тем чтобы нам, сынам православия и веры, понести знамена свои – через боль и кровь – к свободе и освобождению от дьявольского наваждения красных псов и жидовских недоносков!»

Сенсация, скандал, боже мой, прелесть-то какая! А материал проверенный? Конечно, а как же?! Кореец Чен – студент университета, подпольный делец, сколько раз поставлял интереснейшие скандальные сведения! Причем всегда точные.

– Спасибо, Чен, – сказал Лобб, – спасибо.

И побежал вниз – на телеграф.

Значит, ровно через два часа весь Владивосток будет знать текст «обращения» Семенова, написанный Исаевым. Пока Семенов даст опровержение, пройдет время, а быть может, Николай Дионисьевич, опровержения не дождавшись, сделает заявление для печати, а

может, Николай Иванович, поднапившись, в пьяном угаре прислушается к совету Максима Максимовича: все может быть, там посмотрим, что получится. А пока главное, самое важное, сейчас получилось.

Чен возвращается от Лобба в третьеразрядную корейскую гостиницу, проходит в свою каморку, расположенную в подвале, запирает дверь и начинает медленно раздеваться. Он снимает свой модный костюм, вешает его на плечики, укрывает марлей и ложится на циновки. Достает деньги, полученные от американца, тщательно пересчитывает их, откладывает себе на жизнь доллар, а остальные прячет в тайник, сделанный в полу. Это неприкосновенно, это в партийную кассу или на оперативные нужды. Чашка риса и кусок мяса в день – весь его рацион. Чен укрывается легоньким одеялом, свертывается калачиком и старается уснуть: после каждой операции у него страшно болит затылок-до слепоты и обмороков. Он начинает тихонько петь себе колыбельную песню. Во дворе визгливо кричат дети. Чен заставляет себя заснуть. Спит он ровно час, как будто будильник ставил. Из своей каморки он выходит беззаботным франтом с гаденькой угодливой улыбочкой и отправляется на биржу – к своим «друзьям»-спекулянтам.

РЕДАКЦИЯ ВАНЮШИНА